

# Но случается чудо



## Екатерина Златорунская

EXCLUSIVE



PROSE

*«Мир с Екатериной Златорунской гораздо лучше, чем без нее. И в нем можно жить. Более того – нужно, и как можно дольше. А делать Мир лучше и продлевать в нем жизнь людей – это самый редкий на свете дар, даже среди художников. Дышать не передышать такую литературу».*

Денис Осокин, прозаик, поэт, сценарист

Exclusive Prose

Екатерина Златорунская

**Но случается чудо**

«Автор»

2021

УДК 82-312.9  
ББК 84(4Рос=Рус)6-44

### **Златорунская Е.**

Но случается чудо / Е. Златорунская — «Автор»,  
2021 — (Exclusive Prose)

Марина была странная. Мужчины не любили её. Профессор Мунс, владелец зоологического магазина, предложил одинокой клиентке купить нерпу: «... сотни женщин, не удивляйтесь, сотни уже обрели спутников. Конечно, это ещё не люди, и дети в таком браке невозможны. Главное, что мозг у них человеческий». Нерпан – так назвала его девушка – поселился в ее ванне. Вдруг случится чудо и он станет для нее волшебной рыбкой? Рассказ «У самого синего моря», как и другие рассказы сборника Е. Златорунской, полон аллюзий, психологически точен, он открывает мир, в котором важны не только мечты человека, но и желания золотой рыбки.

УДК 82-312.9  
ББК 84(4Рос=Рус)6-44

© Златорунская Е., 2021  
© Автор, 2021

## Содержание

Часть первая:	6
Завтрак с видом на Сэлинджера	6
До свидания, лето	9
Над Москвой-рекой ходили	13
Кровать Марии Антуанетты	22
Баба Галя	27
Сорок дней	32
Аня и Маря	36
Спи, мое бедное сердце	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Екатерина Златорунская

## Но случается чудо

Издание подготовлено при содействии Литературного агентства и школы «Флобериум»  
Миссия «Флобериума» – открывать звезды и дарить их людям, чтобы жизнь стала ярче

© Екатерина Златорунская, текст, 2021

© ООО «Флобериум», 2021

© Нонна Гудиева, обложка, 2021

\* \* \*

*Моим родителям – с любовью и благодарностью!*

## Часть первая: о других

### Завтрак с видом на Сэлинджера

– Здесь только завтраки, я свой уже заказала, – торопливо сказала она, пододвигая ему меню, – а счет приносят в яйце, как Кошечеву смерть. А где-то приносили счет в книге, в библиотечном конвертике на первой странице. Один раз это был справочник ветеринара. Я прочитала до эндокардита.

Она так и не сняла свой белый плащ. Сидела, обхватив себя руками, постукивая лодыжками. Кажется, под плащом было платье-майка, темно-синее, короткое, потому что ноги казались особенно голыми, открытыми. И он подумал, что это платье она надела специально для него.

– Понимаешь, это начало романа, – продолжала она. – Может быть, роман я так и не напишу. Но все равно спасибо, что ты взялся прочитать. И мне даже не пришлось тебя долго уговаривать. Шучу, шучу. Правда, спасибо.

Он посмотрел на нее и не улыбнулся. Он был почти седой, а лицо молодое. Он начал сидеть уже в тридцать, когда они познакомились, и гордился этим. Невысокий, худой, всегда в джинсах, кроссовках, выражение лица – хмурое, думающее, но улыбка была быстрой, легкой, и когда он улыбался, ей хотелось пальцем провести по его губам.

Она подумала – носит ли он тот костюм, который выбирали вместе, и он страшно стеснялся, когда она заходила к нему в примерочную кабинку, садилась на табурет и оценивающе смотрела на него через зеркало.

– Моя героиня в начале истории старая, хотя молодая, а потом все наоборот. Очень тяжело стареть.

– Это ощущение жизни – твое или твоей героини?

– Смотри, вот им всем лет двадцать, – показала она на молодых людей за соседним столиком, – а мне тридцать. У меня на их фоне начинаются комплексы. Я думала, вот мне будет тридцать и мне станет легче жить. Тебе в твои сорок стало легче жить?

– В свои сорок – да, – ответил он, интонационно выделяя каждое слово.

– Мне наша встреча в кафе напоминает сцену из рассказа «Френни» Сэлинджера. Кстати, в каком кафе они сидели? И как звали ее жениха?

– Я не помню.

Мужчина вдруг засмеялся.

– Почему ты смеешься?

– Вспомнил, как ты писала мне в сообщениях «Сэлинджер» через «е».

– Я и сейчас иногда так пишу.

– Приятно знать, что твои старые знакомые не изменились.

– В этой фразе меня оскорбляет все – и слово «знакомая», и «старая», и множественное число.

Мужчина недоуменно развел руками:

– Я не хочу обсуждать твои обиды. Тем более они кажутся мне нелепыми. А вот и твой скудный завтрак. Кофе и яичница. Стоило ли из-за этого выбираться из дома?

– А вы так и не сделали выбор? – спросила его официантка, строго улыбаясь. И он, желая поспешно предотвратить неизбежную атаку, сказал:

– Я ничего не буду, мне скоро идти, и я уже завтракал.

Несколько минут они сидели в торжественной тишине. Она смотрела по сторонам, потом сказала:

- Они сидели в студенческом кафе.
- Кто?
- Френни и ее жених.
- Какая у тебя хорошая память.
- Я только недавно перечитала рассказ.
- По-моему, это повесть.

Она снова подумала о чем-то своем:

- Кстати, сколько Френни было лет?
- Ну, это тебе знать лучше, ты же недавно перечитывала.
- Сэлинджер про это ничего не пишет.
- Но она студентка. По моему ощущению – где-то восемнадцать.
- Представляешь, когда я читала этот рассказ, – она выразительно посмотрела на него, – мне было пятнадцать, и Френни мне казалась очень взрослой. Недавно я искала что-нибудь почитать и нашла пьесу «Дни Турбиных». Так вот, Елене было двадцать четыре года.

– И?

- А сколько было Карениной?
- Толстой не называет ее возраста.
- Ну сколько бы ты ей дал по своему внутреннему ощущению?
- В начале книги двадцать шесть.
- Представляешь, когда я прочитала эту книгу в первый раз, мне было девятнадцать.

Мужчина перебил ее:

- Давай ешь, а потом приведешь список героинь, которые помолодели в твоём восприятии по мере того, как ты превратилась в старушку.
- Знаешь, что мне больше всего нравится в повести «Френни»?

Мужчина пожимает плечами.

– То, как Френни во время пламенного монолога жениха просит отдать ей оливку, оставшуюся в его бокале после выпитого мартини. Такая мелочь, казалось бы, но она раскрывает все. Когда я читаю такие вещи, у меня пропадает желание писать совсем, и, вместо того чтобы писать, я иду на кухню и ем.

- Да, я заметил, как ты поправилась.
- Какая предсказуемая шутка.

– Что я могу ответить на это серьезно? Не читай чужих вещей, пока пишешь свои. Так у тебя будет готовый рассказ или роман, пусть плохой, но твой.

– Или вот, например, Симор в «Рыбке-бананке» едет в лифте вместе с какой-то женщиной, и эта женщина смотрит на его голые ноги, и он ее спрашивает: «Вы смотрите на мои ноги», и женщина, уличенная в этом, как во лжи, краснеет и выбегает из лифта. Потом он заходит в свой номер, садится на кровать в синем халате. А почему ты так уверен, что я пишу плохой роман?

- А почему ты так уверена, что халат Симора был синим?

Она смотрела ему вслед. Он шел быстро, раздраженно. Парусиновые занавески взмывали над верандой, и ей казалось, что наверху сидит огромная птица, которая хочет, но не может взлететь.

Среди ночи заболело сердце. Может быть, это было эхо другой боли, а казалось, что сердце. Она проглотила нитроглицерин, но боль не прекращалась. Было похоже, что кто-то высасывает из нее воздух, как воду из стакана, через трубочку. Маленькая съемная квартира

становилась еще меньше и давила со всех сторон креслами, телевизором, занавешенными окнами. Она написала ему: «Приезжай, мне страшно, у меня колет сердце, и я не знаю, что делать».

– Я сейчас засну, выпила снотворное, и мне легче, просто посиди со мной.

Он рассердился. Хотел уйти сразу, но почему-то сел в кресло и сидел так, со всей силы прижимаясь к спинке, борясь с раздражением.

– Я не буду тебя соблазнять, не бойся.

Она лежала, укрывшись одеялом с головой, как мумия.

– Знаешь, мама рассказывала, что, когда я была младенцем, не могла без нее жить. Она меня укачивала на руках, а потом не могла переложить в кровать. Я просыпалась и плакала. Так она и спала, держа меня на руках.

– А сейчас как ты без нее?

– Вот так. Сам видишь.

– У меня есть женщина.

И она ответила равнодушно и быстро, не своим, а чужим голосом:

– Я давно не люблю тебя больше.

Он вспомнил, что в сумке лежит начало ее романа, и стал читать. Почувствовал через какое-то время ее взгляд на себе. Она засыпала, но старалась понять по его лицу, нравится или нет.

Он улыбнулся ей ласково, даже нежно:

– Мне нравится, спи.

И она закрыла глаза.

## До свидания, лето

После конференции вышли на улицу, блестящую от дождя, как слезы на глазах. В Дюссельдорфе было холодно, несмотря на июль. Гостиница, где остановился Евсеев, находилась в пятнадцати минутах от Конгресс-центра, но он все равно вызвал такси. Серая туча переводчиц, обступаемая черными пятнами мужчин в костюмах, сиротливо стояла под навесом, раскрывались зонты, как фейерверки, и на его вопрос, кого подвезти, отозвалась только одна девушка и села рядом с ним на заднее сиденье. Звали ее Таня, переводчица-синхронистка, и он соврал, что именно ее голос слышал у себя в наушниках. Голос у нее был быстрый, словно бегущий по полю щенки. Она из Воронежа, он из Екатеринбурга – бизнес-менеджер подразделения Laundry&Home Care. Как далеко мы друг от друга, подумал он не без облегчения.

Ужинать пошли в соседний бар. Таня попросила чай, но чая там не подавали – только пиво, и они пили пиво.

Михаил просил ее перевести отдельные фразы из своего доклада, и она переводила, немного скованно, как будто разношивала тесные туфли.

Он спросил:

– Как будет по-немецки «У тебя красивая грудь»?

Евсеев перешел на свой особенный голос, которым всегда, помимо своей воли, разговаривал с женщинами, и этот голос не давал ему сказать что-то настоящее, простое.

Она перевела, как-то вся застыв, опустив голову, перевела чуть медленнее. Он все смотрел ей в глаза.

В его номере она не знала куда сесть. На кресле лежал пиджак Евсеева, сам он то и дело отражался в длинном окне зеркала. Таня села на краешек кровати. Покрывало было мягким, темно-фиолетового цвета. Она потрогала ворс. На прикроватной тумбочке стояли в белой вазе синие гиацинты. И сама Таня была словно завернутый в бумагу цветочный букет.

Он проснулся рано, по привычке, а Таня еще спала, выставив плечо из-под одеяла. Предстоящий день вдвоем с ней показался Евсееву длинным, как осенний дождь, ему захотелось уйти.

– Мне нужно отлучиться. У меня несколько рабочих встреч. Если хочешь, подожди меня в номере, – зачем-то предложил он.

Таня сквозь сон ответила что-то похожее на «хочу», повернулась к нему спиной, откинула одеяло, показывая ему свое голое тело, к которому он еще не успел привыкнуть. Он посмотрел на нее, на длинный лодочный изгиб позвоночника, и вспомнил, как ночью они занимались любовью, он вжимал ее в себя двумя руками, и она говорила: мне больно. Где больно? Но было уже не важно.

На торговой улице он зашел в пекарню, чтобы купить кофе и брецель, сел за столик лицом ко входу. Вокруг было много женщин, все в легких, повторяющих тело платьях, и он привычно рассматривал их.

Одна женщина вдруг напомнила кого-то из прошлого, кого, он не мог вспомнить. И чем? Прошла мимо него, кольнуло чем-то, и вот стоит покупает круассаны, совершенно безопасная со спины. Но когда возвращалась, держа в руке коричневый смятый бумажный мешок, кольнуло сильнее, и он понял – запах, духи. У кого-то были такие. И сразу вспомнил Соню.

А за ней целая череда лиц, тел, ни к кому не смог привыкнуть, мотался от одной к другой. Ни с кем не мог проститься до конца – от жалости, безволия, неумения сказать «нет».

– Что я могу поделывать, кобель, блядун, – так говорила его мать сначала одной жене, потом другой.

Все его женщины повторяли друг друга. И когда он снимал с них шелуху платьев, все, чем оборачивали себя, то видел серые пустые тела, которые не хотел, не мог любить. Он говорил им одно и то же, и они ему – одно и то же, а он искал свою, чтобы вот из тела своего созданную. Но такой не было.

Он вспомнил, как Таня все смыла с себя, и он смотрел на нее, как на промытое мылом оконное стекло.

Евсеев зашел в торговый центр, купил машинально три белые сорочки под костюм, потому что ничего другого не носил, не было времени ни на что, кроме работы. Одну подарю шефу, подумал он.

Шеф повлек за собой снова запутанное, надоевшее. Евсеев вспомнил Елену Петровну, как он сказал ей в обесцвеченное лицо: если еще раз повторится, уволю. А она: не вы мне начальник, а Дмитрий Геннадьевич. На корпоратив принесла помидоры своего засола и рыбу, и Евсеев ел, хвалил, ненавидел ее, но зачем-то улыбался, зачем-то благодарил их всех за работу. Какой ваш-то красавец – говорили про него и пересказывали дальше про жен, умственно отстающую дочку и про его любовницу Соню. Хорошо, что с ней все закончилось, хорошо, что не родила, думал Евсеев, я бы не выдержал, – он так и говорил тогда Соне.

Два раза видел ее потом, а может, и не ее. Волосы темные, длинные, мелькнули в толпе, как будто дождь сорвался и тут же стих. Соня всегда просила перед сном: Миша, расчеши мне волосы, – и он расчесывал.

В пивной было много русских, и русская речь обступила его. Он сел в самый угол, спросил у старика немца, сидевшего рядом:

– Что вы пьете? Я не знаю, что выбрать.

– А что вы любите? Светлое? Темное? Все зависит от этого.

Ничего не люблю, подумал про себя Евсеев, но старику ответил:

– Светлое.

– Тогда вот это – шпатен.

– Да, шпатен я знаю.

– Женаты? – спросил немец.

– Был два раза.

– Я тоже разведен, давно, три сына. Один стоматолог, хорошая профессия. У вас зубы не болят? Вы русский? Я ищу русскую жену много лет. Русские хорошие, щи, каша. Русские красивые, большие.

– Большие, да.

– Большие, теплые, как пироги. Сладкие или с капустой.

В гостиницу он возвращался пешком. По дороге попалась кирха, он зашел внутрь. Длинные костлявые своды, горели свечи, каменные юродивые грозили со стен.

Ему не хотелось в номер, и он остался сидеть в холле отеля. Белобровая женщина развалилась на диване, опустив бретельки с платья, сняв туфли. От нее пахло чем-то сладким. Он обернулся на запах, как собака. Дама помахала рукой. Слышалась речь, говорили немцы, русские, англичане, слова сливались в одно непонятное длинное предложение. Завтра Таня уедет. Он вспомнил, как она рассказывала ему про свой предстоящий отпуск: «Маленький отель, но море в пяти минутах, бухта, пляж – мелкая галька, хозяйева – сын и пожилая мать, она же гото-

вит». Он был уже пьян. Ему было хорошо, и он сказал, глядя ее по темным, отливающим блеском, как шубы в магазине, волосам: я возьму короткий отпуск и приеду к тебе через три дня.

Официант бесшумно принес шампанское. Белобровая женщина сменилась мальчиком с собакой. Собака на шелковом ошейнике рвалась к пробегающим женским ногам, и мальчик говорил ей по-немецки: на место.

Бармен с шумом наливал пиво. Слегка дребезжали чемоданы на колесиках, бесшумно проезжали тележки с чемоданами, открывались, закрывались двери. Легкое перестукивание опускаемых чашек, глухие удары массивных пивных кружек. Евсеев снова вспомнил Сою. Когда все подходило к концу, она была все безразличнее. Она убирала лицо от его поцелуев – не надо, давай сразу. Он ложился на нее сверху, наваливаясь всем телом так, чтобы ей стало больно, чтобы раздавить своей тяжестью, и они смотрели друг на друга, не закрывая глаз.

В номере он сразу лег на пол.

– Я не могу встать.

Таня снимала с него ботинки:

– Миша, ну перестань, вставай. Блин, какой ты тяжелый.

– Семьдесят восемь килограммов.

Он потянул ее на себя, ущипнул за сосок.

– Ну не сердись, – гладил ее по ногам, – хорошая ты будешь жена.

В четыре утра он вскрикнул от судороги в ноге.

– Что болит? Сердце? У меня так отец умер.

– Нога.

Она стала водить кулаком по его напряженной икре, и боль отпустила.

– Когда отец умер?

– Два года назад.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать шесть.

– Почему не замужем?

– Сейчас никто не замужем в этом возрасте.

– У меня в двадцать шесть уже дочка родилась, ну не обижайся, не обижайся.

– Да нет, не обижаюсь. Просто зачем сразу – замуж, дочь.

– У моей дочери, блин, как сказать, задержка умственного развития. Ну она в коррекционную школу ходит. Я жену заразил хламидиозом, когда она была беременная, на сроке двадцать недель. И у дочери сразу после рождения начался менингит, как осложнение от инфекции. Она выжила. Но дальше пошло-поехало. Понимаешь? А может, она умнее нас, только по-другому. Я им помогаю деньгами, но навещаю редко. Мне там тяжело, пойми. Жена уже привыкла. А я не могу.

Лежали рядом, молчали. Она погладила его по руке, поцеловала. Зачем этот хламидиоз? Зачем рассказал? Но было не остановить. Так близко она лежала. «Шеф меня не любит. Он своих знакомых вместо нормальных ребят допустил на конкурс, теперь будут новый магазин строить. Они все мне должны подчиняться, шеф там формально. Но я прошу, а они не делают. Набрал себе блядей. Пять блядей, я бы вместо них взял пять толковых, Пашу бы взял. Паша хороший».

Таня гладила его по волосам:

– А что это у тебя?

– Где?

– Под волосами.

- Родинка.
- А у меня вот здесь, под ухом, потрогай.
- Какая маленькая. Капелька. Кожа у тебя такая нежная, как у дочки моей. Ты что, плачешь?
- Нет.
- Что ты любишь?
- Когда мне гладят по спинке.
- А еще? Ну говори, говори.
- Ты приедешь?
- Приеду.
- Там плохой отель.
- Не важно.
- Я хочу, чтобы ты помыл меня в ванной.
- Как ребенка?
- Как хочешь, как умеешь.

Он намылил голову шампунем, нашел родинку, поцеловал, и возил мылом по спине, по позвонкам, и мыл ноги, ступни, и смывал пену душем, и совсем не хотел ее сильно, остро, но она позвала его – садись, и он залез, слишком большой для этой ванны, и она намылила ему волосы, и смывала шампунем, он наклонял голову, она поднимала высоко руки с лейкой, касалась его носа грудью, и он сквозь сон, сквозь тепло, взял сосок губами и долго его держал, втягивая и отпуская, как будто вдыхал какое-то тепло и не мог вдохнуть.

Через два часа зазвонил будильник. Таня встала первая, ходила по номеру, собирая свои вещи, что-то говорила сквозь его сон – про рейс, самолет. В комнате было темно, как ночью, кондиционер нагнал холод. От каждого звука у Евсеева дергался глаз, голова болела невыносимо, он мерз. На улице шел дождь, с шумом, ливнем, и все, что он хотел, – завернуться в одеяло с головой и спать.

## Над Москвой-рекой ходили

Июль был холодный, как сентябрь. Вот и август начался с дождя, и деревья от бесконечных ливней поседели и постарели раньше времени. А где-то, в трех часах лета, – море и солнце, море и солнце, на террасе под белым солнцем покрытый белой скатертью стол, и запахи горячего хлеба и кофе, и тишина, и покой.

Между тем закончился длинный рабочий день, похожий на другие длинные дни, с комплексным обедом на выбор: номер один и два, мясное и рыбное. В мясном почему-то вместо компота полагался кофе. Она брала мясной, хотя, следуя вегетарианской моде, не ела мясо. Обедали всем отделом в столовой с долгим советским прошлым: увядшие пальмы в кадках, тяжелые стулья с бархатными сиденьями, бордовые ковровые дорожки, окна в тюле. Котлетный дух вместе с компотным и суповым поселился в столовой навечно.

– Котлета коту, – шутил начальник, когда она перекладывала котлету в коробочку.

Котлета и правда была для кота, прижившегося у охранников. И зачем она приносила ее, сама не знала. Она была равнодушна к кошкам вообще, и кот охранников не составлял исключения. Пушистый, неласковый, он жадно ел котлету и был неприятен ей вместе с котлетой.

С утра болело горло, к концу рабочего дня поднялась температура.

Люди в метро наваливались спинами, запахами, волосами, всеми порами и прыщами одинаково неприятных лиц. Иногда она видела, как мелькает в окне вагона, заслоняемое другими отражениями, ее собственное лицо.

На «Курской» она не стала пересаживаться на «Молодежную», а поехала дальше до «Смоленской».

Он не сменил номера. И голос его привычно сказал «алло», с той же интонацией одиноко живущего человека. Она сказала: «Я рядом с твоим домом, мне нужно зайти на пять минут».

Семейной жизни предшествовало тихое ухаживание. Он заезжал за ней на работу, ей тогда только исполнилось двадцать четыре. Он был старше на шесть лет, и она не понимала, как это мало. Часто сидели в его машине, курили в окно, шел тихо дождь, она пила шампанское и, слегка пьянея, вспоминала, кого любила раньше. Оказалось, что особенно и никого. Он переспрашивал фамилии. С такой фамилией, наверное, уже облысел. Она смеялась. Нет, хотя может быть. А вышла бы замуж за этого, как его звали? Стас Цыпкин. Да, стала бы ты – Анастасия Цыпкина. И вы бы звали друг друга «цып» и «цыпочка».

Он тоже любил раньше. Она это узнала потом. Лежали на большом матрасе в еще пустой квартире. Он не разрешал ей курить дома, поэтому, чтобы чем-то себя отвлечь, она варила себе всю ночь кофе. Она все расспрашивала. А он зачем-то рассказывал: красивая женщина, намного старше тебя, сын Ефим, сейчас подросток, а десять лет назад был двухлетним мальчиком. Недавно вышла замуж второй раз. Почему не за тебя? Потому что. Покажи фотографию. Не покажу. Она красивая. А какая фамилия? Она, наверное, сейчас совсем старая.

После того разговора плакала, отвернувшись от него. Он ее утешал, целуя то в одно, то в другое плечо.

У него не было друзей. Вернее, были, но далеко. Один жил на Севере, а другой – в Израиле. Одного звали Мохнатая Шапка, другого – Фимой.

Свадьбу праздновали почти без гостей. Он, его мама, ее родители и несколько подруг. Ее мама была против замужества:

– Ну и что за жених? Разве что москвич. А больше нет достоинств.

Зато своя квартира и должность.

Соседи знали его ребенком. Когда приходили к его маме на пироги, всегда останавливали: «Настя, а какой Максим был хороший ребенок, всегда вежливый, слова грубого не скажет, сумки донесет, попросишь хлеб купить – купит. Он и сейчас такой. Хороший муж тебе достался».

Жили они тихо. У него полдня занятия в университете, полдня в адвокатской конторе. Приходил поздно. Перед сном смотрели фильмы по его списку, она засыпала на середине, а он пересаживался за рабочий стол, составлял иски, готовил документы. Светила ярко лампа. Она жаловалась сквозь сон: «Мне свет мешает». Он ложился рядом, гладил ее по спине, волосам:

– Ты мало любишь меня. Мало целуешь, обнимаешь.

– Я не люблю целоваться в губы.

Он поднимал футболку и целовал ее в живот.

Он любил автомобильные поездки, фотографировал старые церкви и деревенские дома. Вдоль дороги высились столбы, тянулось желтым ржаное поле, зеленым – клеверное, над полями – небо. Вороны изредка ходили по полю. Обращал внимание на названия всех рек. Какие-то остались в памяти: Кривуша, Жабка, Рябка, Карла, Сухая. Часто сворачивал с пути, чтобы посмотреть очередную деревню. Везде было одно и то же: несколько кирпичных домов, большая часть – деревянные, главный большой магазин с продуктами и промтоварами. Козы, куры, утки, коровы. Отец и сын или пара дедов за ремонтом машины, дети на велосипедах, бабки на лавках возле дома. Все удивленно смотрели на них.

Ей хотелось в Ниццу, Париж, Рим, Амстердам. Она рассказывала ему: «А я читала, а я смотрела, а Нина прилетела...» Он никуда не хотел. Давай начнем путешествовать после сорока. После сорока? Я буду старая. Ты что? Откуда у тебя такие представления о старости. А разве нет? Я хочу сейчас. Молодой и красивой.

Часто он ездил в районные суды, ночевал в гостиницах. Звонил ей: «Со мной живут таракан и клопиха». Она взвизгивала от отвращения. «Ну зачем ты так? Таракан Тотоша, а клопиха Марфинька. Привезу их к нам, заживем все вчетвером. Я им обещал». Такие у тебя глупые шутки. Он смеялся. Да это не шутки. Ему хотелось говорить долго-долго. У нее затекала рука. Она говорила: «Приедешь, и нечего будет рассказывать». Ты устала? Ну ложись спать скорее.

Он был особенно нежный и счастливый там, в чужих гостиницах. Она это чувствовала, и ей было почему-то грустно.

Один раз приезжал его друг Мохнатая Шапка. И правда, в шапке, ужасно немодный, маленький, лысый, с усами. На ужин пошли в итальянский ресторан. А водка есть? Ну какое вино, что мы, девочки? Смеялись, читая меню. А что это? А это? Да это какая-то бабская вся еда. Пошли отсюда.

У себя на кухне жарили мясо и картошку, ели и пили с жадностью. Вспоминали каких-то однокурсников, кто где с кем сейчас. Ближе к ночи разговор крутился по кругу, выходили курить в подъезд, возвращались обратно, слушали песни Летова.

Утром пошли в Кремль. Было холодно, промозгло. Смотрели усыпальницу Рюриковичей в Архангельском соборе, потом поехали на Воробьевы горы. Шел редкий снег, как-то косо, в сторону. Шапка просил себя запечатлеть то на фоне университета, то – бюста Ломоносова. Вечером он уехал.

Возвращались с вокзала на метро. Она злилась:

– Тебе нужно купить хороший пиджак, водолазку, новые очки, пальто. А ты так одеваешься, мне неловко. И друг твой Шапка.

– Да, друг мой – Шапка. Я буду Новый Пиджак, а он Старая Шапка.

Он смеялся, ему было почему-то смешно:

– Зачем мне быть красивым, вот ты у меня красивая, пусть ты будешь красивая.

Она любила магазины. Замирала у витрин: платья, платки, свитера, юбки, сапоги. Он всегда ждал ее снаружи примерочной. Она звала его – ну как? Он всегда одобрительно кивал: «Красивая ты, тебе все идет».

Перед свадьбой он купил ей дубленку, черную, с каракулевым воротником. Дубленка оказалась ноская, и она ходила в ней и после развода.

Ссорились из-за его диссертации: он не хотел защищаться и работал на полставки. Простой преподаватель, а дураки всякие... Они не дураки. Дураки. Зачем мне это звание? Что оно мне даст? Статус? Ну какой статус? Такой. Ну аргументируй, какой статус? Такой статус, что тебя никто не уважает, а будут уважать. Ты рассуждаешь, как дура. Конечно, я дура. Да, ты дура. Потом помирились. Ты меня любишь? Он долго не отвечал, потом соглашался: да, да, люблю.

Часто спрашивала его после ссор: «А ты хотел бы другую жену?» Какую? У тебя есть кандидатуры? Нет, ну серьезно, другую. Конечно, чтобы играла на банджо в маленьком оркестре. Я бы сидел в зале и смотрел на нее, приносил цветы за кулисы и таскал футляр с ее инструментом. Да, она была бы у тебя с буклями, в очках, как Ирина Степановна у нас в бухгалтерии. Нет, она была бы хичкоковская блондинка в узкой юбке и на каблуках.

Как-то во время серьезной ссоры она сказала: «Когда-нибудь ты разлюбишь меня, и найдешь другую, и забудешь». Он серьезно ответил: «Да, разлюблю, найду другую, забуду».

Спали тогда под разными одеялами и не помирились даже утром.

Ему нравились пироги, плов, борщ. Она ничего не готовила. Не ела мучного и жирного, худела. И он делал все сам, аккуратно передвигаясь по маленькой кухне. Специи в шкафу расставлены в особом порядке, кастрюли в одном отделении, сковородки в другом, эти фарфоровые чашки только для гостей, эта только для меня.

Его рабочий стол всегда был стерильно пуст. Книги он заворачивал в бумагу, чтобы не трепались обложки. Не разрешал трогать его вещи. Часто рассуждал о чем-то непонятном ей, и когда рассказывал, ходил от волнения по комнате кругами. Она думала о своем.

– Ты меня не слушаешь?

– Слушаю.

– И что я говорил?

Она думала, что совсем не бьется сердце.

Коридор, кухня, комната. Запах старого клея под обоями. Свет от лампы, звук клавиатуры. Звонки его мамы. Мгновенно вспомнила, как не могла здесь жить. Как все раздражало. И этот диван, который он раскладывал вечером, а утром она собирала. Потом уже не собирала. Так и оставался раскрытый, с наваленными подушками, одеялами.

Все это она оставила сразу. Решила в метро. Ехала в туннеле, и вдруг неожиданно изгородь из деревьев, как на картинках. Украинские дворики. Свет, тень. Кружева. Выехала на свет. И стало ясно. Нужно все бросить. Но не успела сказать, он предложил первым: «Я устал, я так больше не могу».

Она зачем-то переспросила, удивляясь: «Разлюбил? Скажи – разлюбил?» Он молчал несколько минут, потом неуверенно сказал: «Да, наверное».

Наверное? Или да?

Да.

«Живу по-прежнему один, рано утром мне на работу, и много непроверенных курсовых». Все это сообщил он ей быстро, не давая зайти в квартиру, но она перебила: мне нужно кое-что забрать. Что забрать? Неизвестно. Развелись почти сразу, она не успела заселить собой квартиру.

Она быстро прошла в единственную комнату и села на диван, не сняв плаща.

Максим настороженно смотрел на нее из дверного проема, не заходя в комнату, поглаживая автоматически ладонью локоть правой руки, как делал всегда, когда нервничал. Она смело взглянула на него и улыбнулась, словно желая сообщить что-то смешное:

– На самом деле я ничего не забыла.

Он не улыбнулся:

– Я понял.

– Как мама?

Он не сразу ответил:

– Хорошо. А твоя?

– И моя хорошо.

– А Олег Иванович?

– Умер.

– Как?

Он вошел в комнату, все так же нервно потирая локоть.

Максим называл отца ласково, по-свойски «папка». Отец сокрушался, уже очень плохой, на больничной койке: «Жалко, что вы с Максимом не живете, может, еще помиритесь, вы молодые. Но это ваше дело, я не вмешиваюсь». Под одеялом еле заметные очертания исхудавших ног, заросшее щетиной лицо, он тяжело дышал, тяжело говорил. Непереносимое чувство жалости перехватило дыхание, Настя заплакала.

Максим остановился, не зная, что делать. Смотрел на нее беспомощно. Наконец сел рядом. Молчали. Когда Настя, немного успокоившись, вытирала влажной салфеткой следы растекшейся туши, спросил:

– Почему ты мне не сказала?

– Зачем? Мы все равно развелись, какая разница.

– Как какая разница? Он был мне нечужой человек. Он был. Так же нельзя.

– Ты знал, что он болеет. Мог бы позвонить, спросить. Не мне, а ему.

Конечно, после всего сказанного надо было уходить. Мог позвонить, спросить, но не звонил. Что еще можно было ждать? Но она упрямо не уходила.

– Чаю? Может быть, чаю? – неохотно предложил Максим.

И снова она удивилась чистоте маленькой кухни без единой помарки беспорядка. Вся посуда на местах, за блестящими стеклами шкафчиков.

– Ты, наверное, совсем не готовишь?

– Почему, готовлю... Настя, не знаю, что тебе предложить. Конфет у меня нет. Может быть, мед? Мне одна женщина, я представлял ее интересы в суде, принесла трехлитровую банку. Неудобно было не взять, я бы обидел. Соседи требовали, чтобы ее дом... Ну, тебе это не интересно. Где ты сейчас живешь? Снимаешь?

– Мы снимаем с одной девушкой, ты ее не знаешь, по комнате. Пять минут до метро. Хорошая квартира, но дорого.

Она смотрела с забытым наслаждением, как он обдаёт кипятком все тот же стариковский китайский чайник, за ним чашки, отсыпает чай и следом наливает воды на самое доньшко чайника, привычно дожидаясь трех минут, потом еще трех, когда чайник уже полон. Еще был стеклянный, в нем, в особенно мирные вечера, заваривали связанный чай и безмолвно наблюдали, как за испариной стекла раскутывается клубок чайных листьев, выпуская из плена когда-то мертвый, но вот оживающий, лепесток за лепестком то молочно-белый, то дымчато-розовый, то сине-лиловый бутон. Максим говорил каждый раз: «Когда-то так развлекались китайские императоры».

– Ты там же работаешь?

– Там же.

– И я.

– На работе как?

– Все хорошо. Вселились в новый корпус. На седьмой этаж. А лифт не работает, но, когда приезжает ректор, его запускают, ему одному лифт включают. Водитель наш вчера вернулся из Монголии. Выучил несколько английских слов: ай нид дринк, например.

– Это какой? Голубенко?

– Нет, Голубенко уволился.

– Тебе нравились его духи.

Ее глаза заблестели:

– Ну и что?

– Да ничего, просто вспомнил. Как они назывались?

– Я уже не помню.

– А я помню.

– Ну и как?

– Azzaro chrome.

– Вкусный чай. Какой-то дорогой, как ты любишь?

Максим внезапно засмеялся, закрыв лицо ладонью.

– Что? Что ты смеешься? Из-за чая?

Он покачал головой, все продолжая смеяться:

– Помнишь, ты сказала уборщице в туалете, которая все кабинки загородила: «Извините, но вы дура».

Она тоже засмеялась.

– Ну во все кабинки швабры рассовала. А очередь же. А она моет не спеша. Мне кажется, я больше уже не выйду замуж.

– Почему?

– Мне уже двадцать семь и вообще...

– Глупости, выйдешь. Увижу потом у тебя в инстаграме: некогда девица Анастасия Федорова, а ныне примерная жена и многодетная мать.

– Я не Федорова, я не поменяла твою фамилию. Я еще Королёва.

– А почему ты не поменяла?

– Тебе что, неприятно?

– Да нет, просто если бы у нас были дети, то тогда понятно, они – Королёвы, и ты с ними – мадам Королёва.

– И ты так спокойно говоришь: были бы дети и мы развелись? И тебе было бы все равно, что они живут со мной.

– Нет, не все равно. Ну ладно, я бы был Бондарчук, тогда понятно, кто же от такой фамилии откажется.

– От Бондарчука я бы так просто не ушла.

– От Бондарчука и я бы не ушел.

Она становилась все мрачнее и мрачнее. Он смотрел с какой-то неприятной для нее жалостью на ее руки, лицо:

– Давай тебе булку маслом намажу. Исхудала совсем. Наверное, ничего не ешь.

– Я теперь вегетарианка.

– Зачем это?

– Полезно для тела и духа... Максим, у меня, наверное, не будет детей. У меня поликистоз яичника и вообще столько всего.

– Настя, может быть, мне не нужно знать о тебе все так подробно. Я же тебе не подруга и не друг.

– Я и не прошу.

Несколько минут они пили чай молча. Она не выдержала первая, нерешительно попросила:

– Максим, можно я останусь ночевать?

– Конечно нет.

– Я только на одну ночь и потом уйду навсегда. У меня температура, кажется, нет сил куда-то идти.

Он постелил ей все на том же диване, она попросила его футболку. Он долго искал в шкафу, выбирал. Наконец выдал футболку еще времен их общей семейной жизни. Она сама ему когда-то покупала.

– Я еще поработаю на кухне. Любишь ты категоричные заявления: навсегда, никогда. Спокойной ночи.

Она ворочалась с боку на бок, не могла согреться, ломило тело, раздражал свет с кухни. Казалось, что все предметы угрожающе близко: острый угол стола, книжный шкаф. Комната выходила окнами на маленький двор, и обычно ночами было тихо, но сегодня выпивали на детской площадке и громко смеялись. Настя закрыла окно, дрожа всем телом.

«Домой, домой», – повторяла она, натягивая скользкие колготки, холодное платье. Растрепанные волосы казались грязными, но она не стала ничего поправлять, пусть так. Аккуратно положила футболку под подушку, как он сам делал всегда. Одинокая машина остановилась под окнами, не выключив фары, и полосы света медленно завращались на потолке, словно крылья ветряной мельницы.

Максим сидел за кухонным столом, наклонившись над бумагами, рассортированными по цветам стикеров. Свет от лампы падал на его лицо, набавляя возраст, но вопреки невыгодному освещению само лицо стало мягче, светлее, беззаботнее. Она не сразу поняла, в чем дело, и удивилась своей невнимательности. Он поменял очки, те, прежние, были массивными, и его лицо под ними казалось мельче, чем было на самом деле, а новые – легкие, в золотисто-бежевой оправе.

– Хорошие у тебя очки. Тебе идут.

Он снял очки, озадаченно рассматривая оправу, как будто увидел ее в первый раз, и протер стекла салфеткой.

– Спасибо.

– Когда купил?

– Месяца три назад. А что?

– А почему захотел новые очки?

Он пожал плечами:

– Ты почему не спишь?

– Знаешь, я все-таки не могу здесь спать. Поеду домой. Вызови мне такси.

Он сразу согласился:

– Как хочешь.

Она хотела его спросить, как же быть дальше, что же делать. Рассматривала стены в старых обоях:

– Ты так и не сделал ремонт?

– Сделаю, когда женюсь в следующий раз.

Он сурово смотрел на телефон, по экрану по прямой медленно ехала игрушечная машинка.

– Ты любил меня?

Она ждала, что он будет сердиться, препираться, уходить от ответа. Приготовилась умолять: «Ну вот я уйду и больше не приду никогда, скажи сейчас, честно. Скажи».

– Да.

– Любил? – зачем-то переспросила еще раз.

И он ответил так же быстро, спокойно, твердо:

– Любил.

Он не отводил взгляд, смотрел на ее лицо.

– А когда ты сказал, что больше не любишь, ты еще немного любил?

Он не улыбнулся в ответ, хотя она смотрела на него просительно улыбаясь, как будто немного иронизируя.

– Настя, – выдохнул он, – я старался, я хотел... Я каждый день, каждый день обходил твоё настроение. Я хотел тебе счастья, нам счастья. Я думал, что получится. Я о многом молчал, чтобы не бередить, не мучить тебя. Но мне было плохо. Я думал, что, если потерпеть, все выйдет. Ты молодая, мы молоды. Понимаешь? Надо было потерпеть. Но ты не умела. Ты хотела, чтобы сразу было все. Но я не мог. Я старался, ты не представляешь, как я старался.

Он говорил это, умоляя ее быть к нему милосердной. Темные волосы, разделенные на пробор, борода. Рубашка с коротким рукавом. Он стоял так близко к ней. Она попробовала это расстояние, погладила его по плечу. Он не отшатнулся. Не двинулся. Она слышала, как он дышит.

– Я тоже.

Он не сразу понял.

Она разьяснила спокойно, мягко, как будто он ребенок, а она его мама.

– Я тоже любила тебя.

Почему-то таксист поехал другой дорогой, и Москва была другая, пустая, летняя. Она попросила остановить у Крымского моста. Стоял теплоход, и, несмотря на позднее время, еще пускали на борт.

– Особенный рейс, – подмигнул билетер, пропуская ее. – Вашу ручку, мадам.

На палубе уже веселились вовсю. Как будто так катались и праздновали весь день и не хотели заканчивать. Между танцующими сновали быстрые официанты. Один, с ленивым пухлым телом, смахнул котлету с тарелки к себе за пазуху и подмигнул ей.

– Он украл котлету, – пожаловалась она старичку со смешной тоненькой косичкой.

– Что же, пусть, ее все равно бы не съели, что же жалеть, что же жалеть? Зачем вам, такой молодой и красивой, расстраиваться из-за котлеты. Украл и украл, на здоровье, – приговаривал старичок, приглашая ее на танец.

– Я мясо не ем, мне не жалко, но ведь ему и так носят и носят из столовой, зачем же красть?

Официанты вкатили низенький столик. На подносе возвышался замок из белого мусса. На шоколадном балкончике стояли крохотные фигурки жениха и невесты.

– Так это свадьба? – спросила она старичка.

– Свадьба, свадьба, – старичок все повторял по два раза.

Ей хотелось говорить, жаловаться, и она жаловалась: больше не будет любви, мне уже двадцать семь, неизвестно, ничего не известно, что делать. И старичок, бережно обнимая ее за талию, удивлялся: как же не будет, все будет, такая молодая и красивая. Еще он напевал про себя какую-то странную песню: «Над Москвой-рекой ходили». Голос старичка успокаивал, утешал: «Продавали холодильник», а ну и что, приговаривал старичок. «Улетали за Урал». А ну и что? «То ли страсти поутихли, то ли не было страстей».

«Горько! Горько!» – кричали в центре танцующих, и сквозило в толпе, как снег в окне за черными скелетами деревьев, белое нежное платье новобрачной.

## Сад в городе

Она работала официанткой в маленьком ресторане, напоминавшем тихий деревенский дом, с пристроенной деревянной верандой. Летом из окон вынимали ставни. Вечером зажигали свечи и ставили их в жестяные лампы, накрывая, как бабочек, стеклянными колпаками. Свет внутри метался, дрожал. Полы под ногами скрипели, скрипели и стулья, спинки которых покачивались под тяжестью гостей, как рюмочки в буфете поезда. В саду, окружавшем ресторан, кружком рос садовый жасмин, листья кустарника были посыпаны цветами, как снегом. Второй этаж веранды насквозь протаранил клен. Его столик был под самой кроной.

Он был последний посетитель, допивал кофе. Официанты накрывали стол для ужина, и через окно веранды он видел только фрагменты: треугольник стола, ободок тарелки с желтыми сливами, раковину висящей над столом лампы. Девушка принесла пиццу. Заволновались черные фартуки над бледными носами тувель, руки, как голуби, закружились над едой, блеск ножей, словно в операционной. Она почувствовала, что он смотрит на нее, выглянула так, что стала видна ему вся, и улыбнулась.

Так он стал приходить в ресторан вечер за вечером. Все, что он зарабатывал, уходило на чаевые и ужины. Когда она в черном платье-фартуке ожидала заказ, он выбирал блюда так, словно гладил ее по коленкам.

Она приносила хачапури, хинкали, кофе, а потом спешила к другим столам, и там, легкомысленно улыбаясь, записывала старательно в тонкий блокнот заказы.

Растущие чаевые принимала без благодарности, и каждый раз, когда она брала черную книжицу с вложенными в кармашек деньгами, ему было стыдно за нее.

Он и сам не знал, зачем он здесь. Но не приходить не мог. Был он молод, не женат. Женщин боялся. Жил в Москве третий год, но города не знал.

Все, что видел, квартиры и офисы, были внутри Москвы, как ящики в комод, он вытягивал те, которые знал, с цифрой тридцать семь или с коричневой, как грецкий орех, ручкой.

Весна началась уныло, длинными ветрами и редким снегом, который к обеду таял, превращался в серую слизь, а вечером грязно леденел под ногами. На безымянном пальце его официантки появилось кольцо. Все было кончено. Он решил найти другой ресторан, другую девушку и даже начать другую жизнь, но и летом, и осенью по-прежнему ужинал за своим столом и стал такой же частью ресторана, как вросшее в крышу дерево.

Зимними вечерами зажигались огни, сливаясь в один яркий свет, и под этим теплым скоплением света оживали улицы, как губы под цветом помады. Он выходил из метро в больничную пустоту снега, поворачивал влево от остановки и шагал в тьму зажатого домами тротуара. А дома – невытая посуда, незаправленная постель. Когда он просыпался, было так же

темно. Включал свет, лежал под одеялом, скрестив руки, как покойник, и слушал шум воды в соседской ванной, а его возлюбленная официантка уже давно не работала в ресторане.

## Кровать Марии Антуанетты

В Шенбрунн зашли с черного хода, минуя дворец и парк. Иван Андреевич желал посмотреть зоопарк, и Ольга Васильевна, его жена, смиренно шла за ним, хотя сама хотела только во дворец. Были они чем-то похожи: маленькие, тонконогие, как канарейки, в одинаковых мятно-зеленых пуховиках, купленных в Италии, которые неизменно надевали в зябкие межсезонные путешествия, по сложившейся привычке.

Ольга Васильевна была младше мужа на пятнадцать лет, ощущала его то сыном, то отцом и давно забыла, что было другое.

В прошлом месяце ей исполнилось сорок шесть, но в ее лице, почти без морщин, было что-то старческое, полустертое, и кудри, которые Ольга Васильевна завивала в любой день недели так же автоматически, как умывалась, лежали надо лбом тяжелым придворным париком.

Иван Андреевич, не оборачиваясь и не глядя на Ольгу Васильевну, отрывисто сообщал факты:

– Вот жирафов в зоопарк привезли еще при Иосифе Втором.

Ольга Васильевна из всех императоров Австро-Венгерской империи знала только Франца Иосифа из фильмов о Сисси, но привычно поддакивала. Жирафы, плавно покачиваясь на длинных ногах, доверчиво наклоняли через забор велюровые головы, рассматривая со своей высоты Ольгу Васильевну и Ивана Андреевича.

После жирафов пошли к черным пантерам, но вместо них нашли пруд с фламинго.

Маленькая девочка в теплом пуховике стояла между взрослыми мальчиками, как воздушный шарик, и смотрела на плавающих фламинго – нежно-розовых, как заплаканные веки. Ольга Васильевна остановилась, но Иван Андреевич сказал:

– Фламинго есть и в Московском зоопарке, хочется посмотреть на что-то фундаментальное, на слонов.

– Но и слоны есть в Московском зоопарке, – возразила Ольга Васильевна.

Они смотрели на слонов, потом на носорогов, искали белых медведей, но не нашли, перешли к пингвинам, но пингвины тоже не были достаточно фундаментальными.

Ольга Васильевна замерзла, захотела в гостиницу, в теплый номер, и проходила один павильон за другим, не замечая ни львов, ни носорогов.

На выходе из зоопарка купили с лотка сосиски и ели на ходу, запивая невкусным чаем. Иван Андреевич ел сосиски только потому, что они венские.

– Ноу мастард, ноу кетчуп, мне нельзя, – выговаривал он продавщице.

– А я съем, мне можно, – сказала Ольга Васильевна.

Во дворцовый парк попали поздно, когда уже стемнело.

Со всех сторон напал туман. Деревья с одинаково постриженными верхушками стояли ровно, затылок в затылок, словно солдаты, и Ольга Васильевна подумала, что по ночам здесь ходит Франц Иосиф, приказывает: равняйся, смирно, направо, – и деревья так замирают на весь день, до следующей команды. Она засомневалась, может, так только по русскому воинскому уставу, а как у австрийцев, захотела спросить Ивана Андреевича, но он шел гордо, презрительно чему-то усмехаясь, и она передумала. Вряд ли он это знает.

Когда-то давно ей казалось, что он знает все. Как быстро это прошло.

– Похоже на Версаль, – сказал Иван Андреевич, но в Версале он не был никогда. И Ольга Васильевна снисходительно улыбнулась.

Скамьи возле парковых аллей были тяжелые и низкие. Они сели отдохнуть. Иван Андреевич безнадежно пытался вызнать в путеводителе, подлинные они или нет, сердился на авторов за некомпетентность, вставал, смотрел на скамьи сверху вниз, оценивая и отвергая.

Становилось темно, зажигались огни, и через туман их свет был белесым, мутным, словно обернутым ватой.

До закрытия дворца оставался час, набирали последнюю группу, и они успели купить билеты.

Входя во дворец, они заблудились. Несколько раз спускались и поднимались через пропускной пункт, потеряли свою экскурсионную группу, со всех сторон на них шли люди, и Иван Андреевич становился все раздражительнее. С каменным лицом он отходил в сторону, пропуская новую партию, и в итоге они оказались среди японских туристов, стоявших двумя рядами, как школьники, и у всех женщин были лица девочек. Одна в теплой куртке и белой пачке смотрела с замиранием на высокую Сисси, чей портрет в полный рост висел рядом с портретом нелюбимого ею мужа Франца Иосифа. Экскурсовод что-то им говорила, и Иван Андреевич, ни слова не понимающий, все равно слушал, поднимал голову туда, куда показывали, помимо своей воли.

Комната предпоследнего императора Франца Иосифа была скучной и мрачной. Над кроватью, на которой он умер, назидательно висело распятие, а на темно-коричневых стенах – портреты, с одного из них грустно и нежно смотрел кронпринц Рудольф, еще подросток, не ведающий о своей страшной смерти. Кровать императора, задвинутая в угол, узкая, деревянная, была самым незначительным предметом в комнате, где просто и незначительно было все. И неизвестно, на что смотрел Франц Иосиф, в полной тьме просыпаясь в свои неизменные полчетвертого утра. В соседней комнате стоял нужник, что-то переходное от трона к детскому стульчику, и Ольге Васильевне было смотреть на него более неловко, чем на кровать, казавшуюся ей старческой, предназначенной только для одинокого умирания. Иван Андреевич, напротив, остановился у нужника, внимательно его рассматривая, как картину, и сказал:

– Это вам не золотой туалет Екатерины Второй, – и пустился в долгие рассуждения о нравах императриц, но Ольга Васильевна его не слушала, думала о другом: как близко одиночество, и старость, и беспомощность, и что никто не будет плакать, когда она умрет.

Спальня императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы, с кроватью, похожей на торт, две шоколадные спинки и белый мусс одеяла, пустовавшей второе столетие со дня их свадьбы и за это время снова ставшей девственной невестой под одобрителный и ласковый взгляд Богоматери, изображение которой с правой стороны стены отражалось в зеркале слева, и казалось, она была повсюду.

В комнате Марии Антуанетты, где стоял сервированный стол, за которым принимали пищу члены императорской семьи, Иван Андреевич искал следы пребывания самой несчастной королевы, ее детскую кровать, портрет, что-нибудь.

От японцев они давно отстали и смешались с какой-то новой группой, а может, это была не группа, а просто разнородное скопление людей.

Иван Андреевич непременно хотел получить ответ на свой вопрос, зорко искал среди толпы кого-нибудь похожего на экскурсовода, метался по красной комнате, и Ольге Васильевне стало его жалко.

– Я заплатил за экскурсию, заплатил. Мне должны показать, – высказывал он Ольге Васильевне, как будто она виновата в этом лично.

В тихом раздражении проходили залы, одну за другой. Все китайские, ореховые, голубые, желтые комнаты, похожие на названия конфет и сами, как конфеты, в блестящих обертках, шелестящие.

Бывшие обитатели дворца остались в нем теньями, и Ольге Васильевне казалось, что она их видит, всех, кроме Сисси, которой не к кому было возвращаться. И Франц Иосиф, как только наступает вечер, ложится в свою кровать.

Последняя комната во дворце была спальней императрицы Марии Терезии, прабабушки Франца Иосифа. Иван Андреевич тут же нашел в путеводителе, что императрица на этой кровати никогда не спала, а только возлежала во время официальных визитов, будучи в положении, и засмеялся. Ее кровать, похожая на огромный трон, закованная в железную кольчугу сотканного из серебряных нитей покрывала, была единственным предметом в комнате. Они постояли перед ней вдвоем, как перед грозным судьей, которому им нечего было сказать в свое оправдание, и пошли на выход.

В холле продавали разные сувениры, конфеты, календари с изображением Сисси и даже куклы. Ольга Васильевна, повинувшись детскому желанию обладания, купила одну. Кукла была фарфоровая, грязно-розовая, в платье наездницы, с испуганным детским лицом, на котором удивленно были нарисованы брови, с черными, наклеенными немного вкось волосами, и с остатками клея на маленьком лбу.

Иван Андреевич сказал: «Ты это Маше купила? Ей еще рано». Двухлетняя Маша была обожаемая дочка старшего сына, и когда они вдвоем, Иван Андреевич и его бывшая жена, сходились вокруг внучки в общей заботе и любви, Ольга Васильевна понимала, как она случайно заняла место с ним рядом.

А когда-то был Майерлинг, охотничий домик в Венском лесу. Ехали по узкой дороге из Бадена, спиралью вкрученной в лес, и огромные деревья, опутанные красно-коричневой травой, поднимались и кружились вместе с ними.

Иван Андреевич был тогда на пятнадцать лет моложе себя сегодняшнего, и Ольга Васильевна тоже. Ей казалось, что еще чуть-чуть и начнется увядание, и Иван Андреевич, женатый, с двумя сыновьями-подростками, не оставлял надежды на другой исход. Их отношения длились год, встречались в квартире ее бабушки, где все было просто, пахло сыростью и военные награды деда стояли в один ряд с иконами в покосившемся от старости и бедности буфете. Одна дверца не запиралась, верхний шкафчик не задвигался.

Последние встречи были особенно грустными, сидели и смотрели «Майерлинг», и Ольга Васильевна простодушно плакала, когда любовники – Омар Шариф в образе Рудольфа и Катрин Денев в роли Марии Вечеры – ложились спать в разобранную постель как муж и жена, и оба знали, что утром они не проснутся.

Тогда Иван Андреевич позвал ее в Баден, как замуж, и она согласилась.

По дороге, глядя Ольгу Васильевну, взбудораженную их первой поездкой вместе за границу, где она ни разу до этого не была, по темно-русой голове, он рассказывал, что, возможно, это было двойное самоубийство любовников, оба желали смерти и устали от условностей дворцового этикета, но, может быть, и политический заговор, убийство.

В комнате, где кронпринц Рудольф застрелил себя и свою возлюбленную, была молельня, на месте, где стояла кровать, – алтарь, занавешенный похоронным бордовым бархатом. В соседней комнате – узкая кровать, на которой нашли мертвую Марию Вечеру, кронпринц с простреленной головой, прислонившись к стене, сидел рядом, как страж. Кровать была узкая, покрытая белым саваном одеяла, и непонятно, как они спали на ней вдвоем. Рядом стоял могильным памятником саркофаг Марии Вечеры. В комнате было тихо и страшно, Ольга Васильевна прижималась к Ивану Андреевичу, и он украдкой гладил ее голую спину, просовывая руку под свитер.

На монастырском кладбище нашли могилу, положили цветы. Было солнечно, радостно. Монахиня в большом колпаке прошла мимо и помахала им.

– Как жаль, что все это закончится, – говорила Ольга Васильевна сквозь слезы, имея в виду их бедный роман.

– Путешествия есть путешествия, всегда заканчиваются, – сказал Иван Андреевич.

На обратной дороге в сумерках он гладил внутреннюю сторону ее бедра, и они оба хотели скорее доехать до гостиницы в Бадене.

Около дворца развернулся освещенный огнями рождественский базар. Иван Андреевич выбирал елочные игрушки. Каждую рассматривал придирчиво долго, прежде чем взять ее в руки, снимал одну перчатку, потом другую, неспешно рассовывая их по карманам, не обращая внимания на образовавшуюся очередь. Потом на плохом английском просил снять ему две с самого верхнего ряда, снова рассматривал, возвращал, потом просил достать те же игрушки еще раз. Ольга Васильевна, не в силах выносить это, отошла в кондитерские ряды за марципановыми конфетами. Она ела их, вынимая из целлофанового пакета, сразу по три. На крыше палатки с конфетами сидел игрушечный механический медведь и пускал мыльные пузыри.

Ольга Васильевна снова увидела розовую девочку, она сидела в коляске в бежевом меховом конверте, как в огромной варежке, и просила – еще, еще, и смеялась, когда медведь выпускал из трубки стеклянные в морозном воздухе пузыри.

На остановке долго ждали автобуса и потом в автобусе ехали, прижатые к поручням. В окнах вместо города отражались лица пассажиров, как череда портретов в сумраке картинной галереи.

В вестибюле отеля, где по периметру холла на винного цвета столах лежали книги с картами Вены и на каждом столике, зажатом кожаными диванами, горели свечи, они заказали ужин. Длинный официант, черный, извилистый, объяснял Ивану Андреевичу, что из чего приготовлено, а Ольга Васильевна выбирала десерты, не могла выбрать между шоколадным тортом, панакотой и чизкейком и выбрала сразу три.

– Я тебе в этом не помощник, – сказал Иван Андреевич, неодобрительно глядя на пирожные.

– Помнишь Майерлинг? – вдруг спросила Ольга Васильевна.

Иван Андреевич ответил сразу: помню, и его лицо подобрело.

Она впервые подумала, что ему, наверное, в их долгом браке не хватает любви.

Ольга Васильевна долго не могла заснуть, смотрела, как Иван Андреевич в желтом круге света от включенного ночника раскладывает купленные игрушки, сидя на стуле в одних трусах, широко расставив худые в венозных мешочках ноги. Он оборачивал игрушки в бумагу, в четыре слоя, потом обматывал их скотчем, потом целлофановым пакетом, складывая полученные коконы в меховые варежки, а варежки в тканевую сумку.

Когда наконец она заснула, то снова оказалась во дворце, из которого все вынесли и остались только одни кровати. Это были разные кровати: ручной работы, с ангелами в изножье, почти игрушечные. Были огромные из вековых дубов, среди них она сразу узнала узкий коричневый гроб – кровать Франца Иосифа; ей захотелось спрятаться от этой кровати, но кровать была такая длинная, что ее нельзя было обойти, и она шла вдоль нее, как вдоль набережной, и казалось, вот сейчас раздастся скрип, Франц Иосиф станет в полный рост и начнет командовать парадом.

Ольга Васильевна прошла уже весь путь и оказалась в еще одной комнате с кроватями, стоявшими сплошными рядами от одного края стены до другого. Стала перелезать через них, как через турникеты. Грозная блюстительница музея возмущенно запротестовала – это музей-

ные экспонаты, нельзя ничего трогать, немедленно брысь. Ольга Васильевна стала извиняться, объяснять, что иначе пройти невозможно.

– Возможно, – сказала экскурсовод, – низом надо ползти.

Ольга Васильевна поползла, собираясь заплакать от унижения.

– А вот эта кровать – Марии Антуанетты, – раздался сверху скрипучий голос мучительницы. – Вы искали.

«Я устала, я хочу лечь», – подумала Ольга Васильевна и в тоске легла на кровать, на самый край, свесив ноги, чтобы не запачкать одеяло.

– Что же вы делаете? – раздался голос экскурсовода, – вы с ума сошли, это же кровать императрицы, вы что же думаете?

И экскурсовод стала толкать Ольгу Васильевну двумя руками вниз.

– Нет, я удержусь – сопротивлялась Ольга Васильевна, но упала вниз на жесткий ковер и проснулась.

В комнате было темно. Ольга Васильевна зашла в ванную, включила воду, но не стала умываться, закрыла кран и вернулась обратно.

– Что же это такое? – раздался недовольный голос Ивана Андреевича, – разбудила, теперь не усну. Ты что же, решила ночью мыться? Ты же знаешь, как дорог мне сон, как мне необходим сон, сколько я пью снотворных, калеча печень.

Он долго мыл стакан, потом открыл бутылку воды, долго мешал ложкой, чтобы вышли все пузырьки, долго пил, и Ольга Васильевна считала глотки, потом снова мыл стакан. Это был его принцип – никакой грязной посуды.

И Ольга Васильевна думала, что там, в Москве, где все расписано – работа, фитнес, школа рисования, уроки танго, на которые они ходили вместе, но которые Иван Андреевич часто пропускал, можно жить, а здесь, в Вене, где нет ничего, кроме них самих, нельзя.

– Пирожных много съела, вот и не спишь, – из темноты сказал Иван Андреевич.

Но Ольга Васильевна знала, что это не пирожные, это другое: что-то темное, всегда бывшее в ее жизни, но загораживаемое всем подряд, подошло и столкнуло с кровати. Она проснулась, взобралась обратно, победила, темное отошло. Но еще она знала, что это временная победа и наступит момент, когда это неназванное чудовище снова навалится всей силой, и тогда уже она не сможет заснуть ни в одной постели.

## Баба Галя

В квартире Елистратова, провинциального писателя, собралось малое число и богатое духом общество поэтов и писателей. Вернее, поэт присутствовал в единственном экземпляре, на то он и поэт, а писателей было четверо, хозяин вечера Елистратов и дамы. Голова Елистратова гудела после вчерашних возлияний, сердце ныло, и все было противно, и все чего-то жаль, особенно денег, одолженных у драматурга Баршова и с ним же пропитых. Драматург Баршов в свете утреннего разговора предстал перед Елистратовым собеседником менее приятным, нежели собутыльником, и наотрез отказался уменьшить сумму долга в соотношении с выпитым им самим. Расстались врагами. Елистратов вернулся домой, где его не ждала даже немытая посуда, и в сердце его было так же сумрачно и холодно, как и на улице, покрытой первым слоем октябрьского снега, белизну которого успели подпортить ботинки.

– Ну что... начнем наше скромное литературное собрание, ведущим которого был избран я более двух лет назад с вашей, так сказать, великодушной подачи. Проведем наш вечер в моей более чем скромной квартире, пока редакция охвачена ремонтом, – начал Елистратов. – Сначала мы обсудим вот что: так сказать, темы, которые мы используем в своих произведениях. Заложник ли творец раз придуманной им формы или отпускает себя из заточения каждым новым сочинением? А потом вы зачтете свои новые, так сказать, творения. С вашего позволения я тоже прочту кое-что, и потом, обсудив это все дело, мы разойдемся по домам. Давайте начнем со Светы, вы написали роман «Венера», так сказать, «потупила глаза». Какова ваша личная тема?

Светлана встряхнула волосами, поэт обернулся на их невесомый шепот и замер.

– Ну как вам сказать, а-а-а, я пишу скорее по наитию. Наитию души, что ли. Короче, о чем душа мне говорит, то и пишу.

– Вы как-то определенно можете классифицировать то направление, по которому к вам идет трансцендентальный, так сказать, поток информации? Одно ли это направление? Несколько ли?

– Можно я вмешаюсь в вашу беседу? – женщина угасающих лет, врач-терапевт по основной профессии, робко встала с дивана.

Елистратов и Светлана кивнули.

– Я не читала прозу Светы. Вернее, читала отрывочно. Мне кажется, что Света пишет только о любви.

– Нет, что вы! Я не пишу только о любви, наоборот, я любовные темы обхожу стороной. Я прочитала однажды, что поэт – это пророк. То же можно отнести и к писателю. Писатель – это тоже пророк, не в обиду поэту будет сказано.

Поэт примирительно развел руками и устремил на Светлану благословляющий взгляд.

– Я замужем, – продолжала Светлана, – и в своем творчестве не использую темы измены, ревности, понимаете. Опасаюсь собственного пророчества.

– Ну вы же не можете отрицать, что центральная тема вашего творчества – любовь? Женщины о другом писать не могут, я много вас перечитал. Я, с позволения своих коллег, друзей и соратников, могу это утверждать, – раздражался Елистратов. – Все эти ваши личные интимные моменты, ревность, это все ваши, так сказать, дела с мужем. Вот и Венера ваша – богиня любви. Вот в моем последнем романе «Зерно, упавшее в землю» есть подобное тонкое замечание. Я пришел к нему совершенно неожиданно. Что меня вывело на этот путь? Мой жизненный ли опыт или опыт, так сказать, моего внутреннего автора, не знаю, – оживился Елистратов, – там есть такое место. Позвольте, я зачту, боюсь быть неточным в цитате.

Елистратов выбежал в соседнюю комнату, где опорожненные бутылки скромно соседствовали с книгами.

«Неплохо вроде бы вечер начинается, – думал Елистратов, – еще бы выпить, конечно, выпить бы».

За оконной рамой второй год лежала мертвая муха.

Он вспомнил, как еще летом тайком перелил в преподнесенную матерью бутылочку с раствором от комариных укусов яблочный самогон и спрятал в аптечке. Обе жидкости мать настаивала самолично. Раствор не снимал зуд от укусов, а самогон был слаб, пах тоскливо, скисшими яблоками, и был невкусным, как все, что готовила мать.

Елистратов сделал глоток, другой, и счастье солнцем заполнило его тело.

К затихшим собратьям по перу он вернулся сосредоточенный и мирный.

– «Ночь была холодная, – начал он уверенным голосом. – Неубранное сено стлыло в поле. Баба Галя долго не могла уснуть, от ежедневной работы болели ноги. «Да чтоб тебя, – прошептала она, жалуясь одновременно на мучившую ее боль и жизнь, обрекшую ее на эту боль. – Были бы внуки, приехали б помогли. Вон, как у Нюры, каждую субботу приезжают на машине, несут ей пакеты гостинцев – конфеты, печенье, колбасу, – завтракают дружно, а потом все так же дружно идут в поле и за один день убирают всё».

– Простите, – вмешалась Света, – а при чем здесь Венера? Или, может быть, я вас не в правильном месте перебила.

– Вот именно, – почти зло ответил Елистратов. – Я хотел про Венеру зачесть следом, но если у вас нет терпения, то что ж, давайте обсуждать ваш роман.

– У нас есть терпение, продолжайте.

Елистратов выдержал паузу и продолжил:

– «Баба Галя наполнила облупившуюся кастрюлю водой и стала варить куриные желудки для трех кошек, серой, белой и черной, которые жили вместе с ней, но и отдельно. Домой ночевать приходили через раз, и часто баба Галя встречала их утром на ступеньках поселкового магазина, где они выпрашивали колбасу у мордастой продавщицы Любы, в которую был влюблен ее сын, местный участковый, добрый, но находящийся под материнским гнетом Иван Владленович. Каждый раз, когда он представлялся, местные бабки вздыхали и говорили: нагуляла его на стороне Федотовна. У нас Владленов отродясь не водилось. Что было правдой. Владленов не было, одни Василии да Иваны, а Федотовна двадцать пять лет назад ездила в Керчь, на море, и привезла гостинец. Виктор, Галин муж, след его уж простыл, завлекли знатного гармониста в добровольный плен вакханки из другого села, укоризненно говорил бабе Гале: «Опозорила ты меня, Галя! Разведусь!» Говорил он это за бутылкой водки, а по трезвости ничем бабу Галю не укорял. А чем ее корить? Две грамоты, медаль, коровы всегда надоены, свиньи сыты, и белая скатерть накрывает стол, как сметана капустный пирог».

Елистратов увлекся чтением, писательницы приуныли, а поэт задумался о своей судьбе. Стихов он не писал давно. В юности он написал их так много, что и через пятнадцать лет читал свои ранние стихи под видом новых. Чужих стихов он не любил, как, впрочем, не любил и чужой прозы, не любил он также других поэтов и писателей, Елистратова называл словоблюдом, но говорил это в частных беседах, не в глаза. Тет-а-тет же с писателем был подобострастен, потому что любил ходить в скромную редакцию, где по вторникам и четвергам были собрания, и жена ему, несмотря на то что поминала каждую пишущую девушку недобрым словом, гладила для этих встреч рубашки. Пишущие девушки были главным интересом в жизни поэта. Не те, что, брызжа слюной, читали свои произведения, словно солдат молитву перед боем, а другие – робкие бухгалтерши и сотрудницы почты.

Две другие дамы не представляли для поэта интереса, но вот Светлана... Поэт устремлял на нее долгий влажный взгляд, а Светлана с тоской слушала Елистратова, отрывку из его книги не было ни конца ни края, и она боялась, что он прочтет весь роман до конца. Елистратов дошел до сцены в магазине, где продавщица Люба слушала признания в любви Ивана Владленовича, Светлана же мысленно перечитывала абзацы из своей книги и радовалась, как покупке нового

платья, складности слога. Она думала, уйти ли ей или остаться, но тут встретила глаза в глаза с поэтом и решила еще немного задержаться.

Елистратов, прочитав главу, почувствовал утомление, извинился за паузу перед обработанными слушателями и вышел в потайную комнату.

– Это безобразие. Он что, и дальше будет так читать? Вот никогда не ходила в гости к мужчинам и больше не пойду, – возмутилась угасающая дама.

– Вы просто мужененавистница, – с неприязнью отозвался поэт, которого раздражали дамы, склонные к скандалу. – Вот Светлана, как истинный писатель, безразлична ко всяким склокам и пишет поэтому отличные книги.

– Книгу, у меня только одна книга, – скромно поправила Светлана.

– Книгу, – поправил себя поэт. – Но я уверен, что с вашим талантом их будет больше, чем одна.

– А вы читали? – спросили в один голос дамы.

Поэт смутился:

– Кое-что читал, но не все, не все, и жажду продолжения.

Тут вернулся обновленный Елистратов.

– Что ж, хорошая встреча, плодотворная, а вот еще отрывок.

Угасающая дама запрочитала жалобным голосом:

– Вот вы маститый писатель, мне нужен ваш совет. Разрешите зачитать мою рукопись, умоляю.

Елистратов скорбно вздохнул – он, как и поэт, не любил чужих книг.

– Формат нашего вечера предполагает чтение только очень короткой прозы, – сказал он предупреждающе.

Инна, как она позволила себя называть Елистратову, достала из сумки тетрадь. Елистратов, мгновенно оценив ее толщину, ощутил неминуемый призыв выпить.

Допивая самогон, он снова вспомнил Баршова, и снова низменная натура драматурга поразила его больно в сердце. Ему стало жаль денег и особенно того, что он называл Баршова братом. В соседней комнате тихим страдающим голосом читала Инна.

«Надо разбавить, разбавить», – думал Елистратов, разглядывая стопку своих книг и одновременно соображая, есть ли еще неистраченные запасы алкоголя, но их не было. Он взял книгу своих ранних рассказов, где баба Галя была еще Галиной, молодой и шустрой бабой, и, неся эту книгу, как подстреленного на охоте зайца, вышел к коллегам.

Инна все читала, расцветая от каждой строки, и Светлана что-то шепотом говорила расплывшемуся на кресло поэту, имя и отчество которого Елистратов вспомнить не мог, несмотря на то что поэта было так много в его жизни.

– Друзья, друзья, – торжественно перебил Елистратов, – это все очень хорошо, то, что вы читаете, но разрешите, так сказать, поделиться своим, из старого, преподать мастер-класс. Это почти уже классика, но кто нынче читает классику? Забыли все и всех.

Елистратов читал, как молодая Галя морозным днем вышла в сарай подоить корову, в валенках на босу ногу, молодая, крепкая, розовая, с толстыми, как антоновка, коленками. Корова ласково мычала, и Галя пела, радуясь морозному свежему дню. Сено пахло, как женская шея после поцелуев.

– Почему мы должны слушать только вас? Я, конечно, все понимаю, вы писатель, вы председатель регионального союза писателей, но сегодня не день вашего творчества. Мы общаемся, – третья писательница воспользовалась паузой и успела просунуть в нее свой нос.

– Давайте обсудим вас.

– Я пишу, – с радостью стала рассказывать она, – детскую литературу.

– Подождите, – Елистратов нахмурился. – Представьте сначала.

– Татьяна Николаевна Шмакова. Детский писатель. В свободное от литературы время подрабатываю юрисконсультантом на молочном заводе.

– Вас, Татьяна Николаевна, наверное, не печатают?

– Почему же. В журнале «Ростки жизни» недавно вышла публикация.

– Не знаю. Не знаю. О чем же вы пишете там для детей? Бабка за репку, репка за мышку? Коровушка, толстые бока, принесла ребятушкам молока?

– Почему вы в таком тоне позволяете себе с нами разговаривать? Если собрание проводится у вас дома, это не значит, что мы к вам лично в гости пришли и вы можете вести себя, как хотите. Я бы добровольно к вам не пришла.

– Я хочу поддержать писателя, – вступился поэт. – Это не просто писатель, писателей много, это писатель-лауреат. Вы оскорбили не только писателя-лауреата, но и пожилого человека.

Елистратов тут же обиделся на прилагательное к нему определение – пожилой, но за этой мыслью пришло и другое – да, пожилой, одинокий, никому не нужный, и вот пришли в его дом со своими жалкими сочинениями, и никто не принес куска хлеба, ни говоря уж о бутылке.

– Неблагодарные, – вскрикнул Елистратов. – Пришли тут, читают свою ерунду, все – вон. Дамы вскочили как подстреленные, поэт остался в кресле.

– Вы не писатель, вы какой-то натуральный козел, – Татьяна Николаевна вышла последней и хлопнула дверью.

Поэт заторопился, исчезала в осеннем дожде Светлана:

– Приношу извинения, но я спешу, спешу.

– Гады вы все, – тихо сказал Елистратов, – даже выпить не принесли.

– Я принесу, принесу, – на ходу надевая ботинки и завертываясь в шарф, говорил поэт.

– Баршов, сука, гад, притворялся другом, – жаловался Елистратов, но никого в квартире уже не было.

Елистратов нашел самый первый свой рассказ, где Галина, еще совсем юная девушка, влюбилась в пожилого председателя колхоза.

«Я бы тебя, Галюшка, любил всю жизнь, но мои года непреодолимой пропастью разделили наши жизни на два берега», – изливал душу в конце рассказа председатель. Галина плакала, плакал и Елистратов, зная обо всех трагедиях, предстоящих Галине на протяжении семи его романов и одной повести.

За окном окончательно смерклось.

«Эх, была Галина, а стала баба Галя, была жизнь, да прошла», – тосковал Елистратов, листая книгу безо всякой надежды, но вдруг значенные однажды триста рублей блеснули розовым светом между серых страниц.

Елистратов возвращался домой с чекушкой водки в кармане, шел мягкий снег.

«Напишу-ка я, так сказать, приквел к первому своему роману».

И строки нового романа замерцали сиянием звезд в ночном деревенском небе. Вот он сам, молодой Елистратов, автор первой, но уже наделавшей шума в писательском мире книги, выходит из сеней попить парного молока, надоенного юной Галинкой. Она в смущении наливает ему из большого ведра.

«Молодой писатель втягивает ноздрями травянистый запах парного молока.

– Как хорошо, Галинка, что ты живешь трудом и каждый день твой наполнен смыслом.

Галинка, задорная девчонка, смущенно смеется, ее черная смоляная коса обвивает шею, как виноградная лоза веранду дома.

– А вы что же?

– А я, Галинка, писатель. Я пишу о жизни.

Галинка смущается еще сильнее, чуть не опрокидывает ведро с молоком.

Молодой писатель хитро, но добродушно улыбается:  
– И о тебе напишу, Галинка».

Елистратов шел по улице, и радостные слезы застилали его глаза.

## Сорок дней

На поминках друзья покойного говорили много, друг за другом, словно передавали эстафету.

– Потому что все могло у него сложиться по-другому, но не сложилось, и в этом наша вина и боль. Простит ли он нас?

– А были молодые, голодные, жарили картошку, и он разделял на две половины. Одна мне, другая вам.

– Всегда, всегда он был эгоистом, – сказала Анна Васильевна, вдова художника, похожая на большую птицу, сходство с которой усиливали черные прозрачные рукава блузы, расширившиеся к манжетам.

Ирина Михайловна, в черном обтягивающем платье, сидела немного боком на жестком диване в самом конце стола.

На этом диване художник спал в мастерской. На нем и умер. Стол был придвинут к дивану близко. Ирине Михайловне было тесно, она была большая, как греческая амфора, с тонкой длинной шеей. Платье не закрывало колен. И ей было неловко.

– Вот как устроено современное искусство? Кто интересен современному искусству? Его проблема в чем заключалась? В том, что он не был интересен современному искусству.

– Его проблема заключалась в том, что он был алкоголик. Он пил, – возмутилась вдова, – пил. Я прошла этот ад, я сказала – больше не могу. Я его выпустила из...

Вдова задумалась, сжала ладони в кулак и резко разжала.

– Аня, – мужчина, седина которого была словно отлита из серебра, погладил ее по плечу. Был он худой, острый как нож.

– Герман, я его выпустила, там с ним потом какие-то возились. Пили с ним, они его и убили. Водил их на нашу дачу.

Ирина Михайловна почувствовала, что краснеет.

Она приезжала к нему на дачу. Так он называл это место. Но какая это была дача? Мать Ирины Михайловны выросла в деревне, и она сама и летом и зимой приезжала к ней по выходным и трудилась. Пять соток огород, скотина, вечером доили корову. Носили из сарая в дом по два ведра, накрытых марлей, молоко теплое, густое. Цедили и разливали в банки. Туалет на улице. Надо идти через сарай с коровой, корова влажно мычит за перегородкой. Запах сена и навоза. Галоши на голые ноги, даже зимой.

Так же и у них на даче, такой же бедный деревенский дом. Вот у Сталина была дача, ездили в Абхазию, смотрели с экскурсией, или вот те дома в журналах, с колоннами, или вот даже у Оксаны, подруги, дом в Балашихе, простой, но с палисадником, беседкой, баней. А там?

Изба, уходящая в землю, прямоугольники окон, длинных, тоже почти до земли. Тюлевые занавески, резные наличники. И сам дом со стершейся бледно-голубой краской, в белых прожилках трещин. Покосившаяся лавка перед фасадом. Засыпанный снегом колодец. Единственное, что новое, – крыльцо, свежеразкрашенное коричневой краской, словно облитое шоколадной глазурью. Вход в комнату через сени. Холодно, пахнет сгнившим деревом, отсыревшими тканями и красками. В передней печь, которую он не топил, потому что есть отопление. Но туалета нет. И умыться как?

«Ношу воду из колодца», – показывает на старый умывальник, похожий на часы с маятником. Вода через дырочку в тазу льется в железное ведро. Смеется. Уже выпил с утра.

И она тоже привезла. Еще два пакета с едой. Холодильник у него сломался. Она расстроилась. А он нет.

– Ира, я только неделю попою, мне надо, понимаешь, надо. Мне надо отдохнуть. Я очень устал. А потом все. Мне Герман обещал совместную выставку в Финляндии. Поедешь со мной? Я не буду пить. Я не алкоголик. Только эта неделя.

У меня последняя выставка была десять лет назад. Я мертвый художник. Но вот Роден говорил – до тридцати лет все в яму. И я так же, понимаешь, я жил в мастерской, я пахал как проклятый. Я думал, что у меня после тридцати будет настоящая жизнь. Но и после тридцати все в яму. Понимаешь?

Для меня первым потрясением стал Поллок. Ты знаешь Поллока? Не важно. Я свой диплом сам сдал. Мне Ефимцев – он к моей работе даже не прикоснулся. Ведь что такое дипломная работа? Что там от ученика? А к моей даже не прикоснулся. И я защитил, вторая работа. Понимаешь? Ты же торты печешь, украшаешь, ты должна понять. Мне не повезло. Я пришел в соц-арт. Но что я там мог?

Лежат в темноте. Он в вязаном колючем свитере, и пахнет от него самогонкой, потом, красками.

На подоконниках сизо белеют банки с кистями, как свечи в церковной чаше. Только свет белый, ледяной. Все остальное ушло во тьму. И холст, как рябое лицо, серое, усталое, смотрит с треножника мольберта.

Он гладит ее лицо шершавой рукой, без страсти, без желания. Ногти красно-коричневые от краски. Но в темноте не видно.

– Знаешь, какой цвет остается видимым в темноте дольше других? Синий. Вот свитер твой синий, я его вижу. А губы уже нет. Губы у тебя, вот как сангина. Тепло-красные, у лисиц такого цвета шерсть. А волосы золотые, как у венецианских мадонн, и вся ты сама мягкая, и глаза бледно-зеленые, словно залитая водой трава, и нос тоже мягкий, и кожа молочная, пахнет яблоками осенними и вином.

Он поднимался на локте и смотрел снизу вверх. Прижатая ладонью щека сложилась, как веер, гармошкой. Жалкое опухшее лицо. Волосы грязные, нестриженные, как свалявшаяся шерсть. Посмотрел и снова лег. Страшная слабость. Голова кружится.

– Ира, ты не уходи от меня, я умру. Ты – мое спасение. Все оставили. Все. Как у Высоцкого. Все уйдут, кроме самых любимых и преданных женщин. Мне обещали выставку в Финляндии. Буду там работать, писать для выставки. Я брошу пить, вот только эту неделю еще, а потом поеду. Ты со мной. Я тебя напишу.

И страшная тоска, что не поедет и не напишет, и вдруг надежда, а вдруг. Видела сквозь темноту не написанную еще картину. Ее лицо белеет в темноте, как на картинах Караваджо, и прядь волос, словно из расплавленного золота, вдоль лица.

Все смотрят, восхищаются: «Какая красивая женщина. Это она спасла его».

А потом снова надвинулась тоска. Он лежит рядом, храпит. Несколько раз просыпался, вставал, находил в темноте бутылку и пил глотками. Так они дожили до утра.

Утром она принесла три ведра воды из колодца и уехала.

Он спал, открыв рот. Лицо коричнево-серое, цвета необожженной глины.

Как спасти? У самой сын подросток, мужа нет и никакой помощи.

В мастерской потолок вымазан белой краской. Подрамники свалены друг на друга. Несколько картин на стенах. Лимоны на одной. На другой – большой и маленький человек под одной шляпой.

Полки в четыре ряда. Вазы с кистями. Пустые банки от кофе. Кружки с отпечатками краски во внутренней части. Его автопортрет карандашом, где он с бородой, улыбается глазами. Таким она его не знала.

– Вы хотели купить картину? – спросил Герман Ирину Михайловну. – Пойдемте.

Вдова тоже пошла с ними в другую комнату, заставленную мольбертами.

– Он почти ничего не писал в последнее время, – Герман вздохнул. – Вот тут в папке наброски.

Ирина Михайловна бегло просматривала один рисунок за другим. Руки дрожали от волнения. Внезапно она увидела свой портрет.

Землистое лицо с красными снежинками сосудов вдоль крыльев носа, мешки под глазами скомканной бумагой. Две складки на шее. Мятая повисшая грудь с тяжелыми сосками, широкие плечи, тяжелые кисти, как камни. Живот одной большой складкой нависал над лобком с рыжими редкими волосами. Волосы, завернутые в дулю, и во взгляде превосходство. Над кем?

Это был карандашный набросок. И оттого, что ничего на нем больше не было, Ирина Михайловна чувствовала себя еще более поруганной.

Герман спросил равнодушно:

– Это вы?

Вдова перевела взгляд с Ирины Михайловны на рисунок, словно перелетела с ветки на ветку. Ирина Михайловна спросила:

– Можно купить?

– Конечно, – согласилась вдова с облегчением.

Ирина Михайловна отдавала деньги, которых ей было очень жаль. У нее горели лицо, уши, и ей казалось, что все неприязненно смотрят на складку на ее животе. Ей было стыдно самой себя. Стыдно обтягивающего фигуру черного платья, стыдно коленей, рук и даже нового маникюра, и самое главное, она стыдилась воспоминаний о том вечере, когда он смотрел на нее и она чувствовала себя такой прекрасной.

Художники за столом заговорили о своем и не вспоминали больше покойного.

– Кто сегодня любит живопись? Никто. И вы не любите, – говорил один, громко, с отдышкой.

Ирина Михайловна захотела уйти тихо, ни с кем не попрощавшись. Но вышла вдова и благодарилась за пироги:

– Я никогда ничего не пекла – ни пирогов, ни тортов.

И голос ее дрожал, как змея, приготовившаяся к укусу.

Ирина Михайловна несла свой рисунок в бумажном конверте, повторяя про себя: разорву, уничтожу. Но перед глазами вдруг появлялось молодое улыбочливое лицо художника с давнего портрета. «А ведь могла встретить его раньше, вот такого. Ходила бы за ним, как за ребенком. И остался бы таким веселым, бородатым». И сразу же она вспомнила о последней встрече, как прижимался во сне горячей щекой к ее руке, и почувствовала фантомное тепло в том месте.

В маршрутке она села на свободное место, еле вставившись между попутчиками, закрыла глаза.

– Женщина, женщина, – мужчина слева пытался выйти, но ему мешали ее колени. Он сердился, наступал на ноги, но все-таки сумел протиснуться к выходу. Выходили другие, и все толкали, наступали на ноги. Ирина Михайловна морщилась.

Наконец Ирина Михайловна осталась одна, изо всех окон на нее наваливалась ночная темень. Ей хотелось отодвинуться от темноты, но было некуда. Шел дождь. Она пыталась раз-

глядеть темно-синее небо, но оно сливалось с остальным пейзажем, портрет под ее руками подрагивал в такт коленям.

## Аня и Маря

А как доктор новый приехал, все и случилось. И не то чтобы он был красивый. Нет. Но руки пахли мылом. Ни Аня, ни Маря так не пахли, а пахли грязными котятами. Матрена их целует в голову, у Ани – темно-русская, а Маря – беленькая, ресницы у обеих черные, а глаза голубые.

– Ой, не сглазь красавиц таких, – говорили. А Матрена, сама красавица, большая, белая, волосы рекой по телу разливаются, быстро ее сосватали.

После свадьбы сразу же пошла корову доить, как свекровь просила. Принесла молоко. Легли спать. Муж кусал, обнимал, прижимал, переворачивал на спину, на живот, сжимал руки, ноги, волосы, только губы не целовал.

«Любит, наверное, – думала Матрена, – пьяный, любит так».

Через неделю в армию забрали. Провожали всей деревней. Все плакали, а Матрена не плакала. Когда беременная ходила, песни пела. Ночью положит руку на живот, слушает. Аня, как рыбка, в животе плавает, хвостиком бьет.

Муж три раза за пять лет приезжал в отпуск. А письма редко писал.

В последнем письме просил прощение – остаюсь, мол, в Великом Новгороде работать и жить. Места здесь красивые, северные. Сообщай о себе мне на адрес: Кияйкину Павлу, до востребования. Матрена письмо читала, Маря рядом сидела и карандашом по письму чиркала:

– Я тучку рисую.

А Марю он так и не увидел, хотя Матрена писала ему сначала на один адрес, потом на другой: «Родилась у нас дочка, Машей назвала, как ты и хотел».

Ну чего уж теперь вспоминать.

Осенью переехала Матрена в большой председательский дом, самый дальний в деревне, у края леса. Председатель, бывший хозяин дома, строил его на семью из пятнадцати человек: он, жена Февронья да тринадцать детей. Семь из тринадцати умерли от голода и болезнью еще в войну, умер и председатель, младшие же дети разбрелись кто куда. Одну половину дома забрали под фельдшерский здравпункт, а другую оставили Февронье – живи, Февронюшка, не жалко. А чего ей одной жить, старуха немощная, еле ходит. Так и уговорила Матрену уйти из мужниной семьи. «Чего ты с ними живешь, ты им уж ненужная больше».

Матрена вечерами в фельдшерской половине полы мыла, инструменты кипятила, простыни стирала. Аня и Маря на кушетке сидят, смотрят сонно, как Матрена тряпкой по полу возит. Маря ноет потихонечку: «Спать хочу. Мама, я спать хочу». Аня терпеливо ждет, ногу на ногу закинула, руки на коленях, пальчики тоненькие, в мелких царапинах, под ногтями грязь. Матрена не удержится, схватит быстро Анину ножку мокрыми руками, в пяточку поцелует.

Маря свою ножку тут же вытягивает: «И мою поцелуй». Матрена целует. Блестят холодной сталью шприцы и инструменты, полотенца и простыни с белым мертвенным отливом сложены стопочкой, жухло светит голая лампочка на потолке. Тихо на улице. Только деревья в лесу выстроились черной очередью и шумят. Ничего за ними не видно, ни неба, ни луны.

Фельдшерица два раза в неделю посылала Матрену в городскую больницу за бинтами, ватой, лекарствами. Десять километров через лес туда, десять – обратно. Матрена просыпалась до рассвета. Маря чувствует, что Матрена встала и куда-то ушла, всхлипывает, зовет из своего сна.

– Спи, Маря, я здесь.

Матрена стоит в темноте, ждет, спит – не спит, вроде бы спит, и на цыпочках из комнаты, а следом – настигающий топоток Марьиных ножек.

Матрена выскакивает из дома, на бегу в платок заворачивается. А внутри, где сердце, огромное животное мечется туда-сюда, скребет когтями и громко воет.

Первую половину дороги лес – холодный, темный, потом редет, белеет, вот уже деревца стоят по одному. Друг за другом показываются – автостанция, остановка, магазин, больница. А в больнице – доктор.

Глаза у него как будто желтые. Странные глаза. Цвет, как у волка. Губы жесткие и подбородок. А волосы светлые, мягкие.

Голос ласковый, серьезный. Он и с пациентами ласковый. Матрена заслушается за дверью, как он им говорит: «Фамилия, имя, отчество? Сколько лет? На что жалуетесь?» – и не заметит, как доктор из кабинета выйдет и мимо пройдет. Вот уже стоит на крыльце, курит, старый ватник поверх белого халата накинут, ботинки гладкие, черные, блестят. Когда втягивает дым, хмурится, а выдыхает, как будто воздух целует. Матрена стыдится своего платка и валенок, старается пройти незаметно, но он ее останавливает:

– Ну здравствуй, Матрена. Что расскажешь, Матрена?

Матрена стоит напротив него и молчит, думает: «Рассказать про дочек. Что рассказать?» Он смотрит, смотрит. Сигарету докуривает.

– Я думала, вы не курите.

Первый раз ему что-то сказала. Засмеялся.

– Я ведь и водку пью, Матрена.

Темный он. Шла домой через лес и думала. Темный. Засмеялся как-то по-темному. А глаза все-таки желтые, волчьи, и улыбка. Улыбка у него неласковая. В лесу тихо, только снег под ногами скрипит, как будто живой. Луна в небе светит сквозь молочный пар облаков, далеко-далеко, не достать деревьям до того света.

А в доме уже все спят. Спит Маря, руки, ноги разбросала в стороны, тело расслабленно-легкое, как будто она во сне своем летит. Аня спит на боку, ноги с кровати свесила. Вот-вот упадет. Спинка нежная, позвоночник – тростниковой дудочкой. Кожа теплая, нежная, как слезы, как цветочные лепестки, как платки шелковые. Матрена села рядом. Волосы гладит: Марины – светлые, Анины – темные. Маря глаза открыла, посмотрела сонно.

– Спи, Маря.

И по лбу ее гладит. Как будто стирает что-то плохое. А из темноты на Матрену доктор смотрит. Сергей Владимирович. И Матрена на него смотрит. Он улыбнется, и Матрена улыбнется. Аня во сне вздохнула. Матрена вздрогнула. Доктор все смотрит и смотрит.

– Не смотри, – шепчет в темноту Матрена, – не смотри.

Ложится в середину между Марей и Аней. Маря голову свою на Матрену положила, Аня – ноги, так лежат, а доктор смотрит и смотрит.

– Не смотри, – а сама глядит в темноту, не закрывает глаз.

То ли муха, зазимовавшая с лета, снегом холодным разгоряченного лица коснулась, то ли приснилось, что муха. А доктор по-прежнему где-то там.

– Господи помилуй, – просит Матрена и все смотрит то в угол, то прямо перед собой. – Помилуй, помилуй, – повторяет, засыпая.

И кто-то склоняется над ее лицом, близко-близко, дыша губами.

– Поцелуй меня, – зовет Матрена и просыпается.

Ночь вокруг. Бабка старая, Февронья, на печи лежит и тяжело дышит. Вот-вот умрет. Только бы жила. А кроме нее, никто больше за Марей и Аней не посмотрит. Матрена подходит к ней рано утром, просит: «Они маленькие, не пускай их на улицу, пусть дома играют».

А в больнице снова доктор на крыльце курит. Заросший, хмурый.

– Матрена, я небритый. Я вот побреюсь, в кино вас позову. Пойдете?

– Пойду.

– А муж вас отпустит?

– У меня нет мужа.

– И детей нет?

Он спросил про детей серьезно, и Матрена ничего не ответила. Как будто побоялась сказать, что есть. А вдруг с детьми в кино не позовет. Кому они – чужие дети – нужны.

– Ну так пойдете?

– Пойду.

Улыбнулся и по плечу Матрене рукой провел.

Матрена домой возвращается, сердце стучит, и воспоминания, как кадры в кино, мелькают. То Марю с Аней вспомнит, то доктора, как он сидит за столом и пишет, и медсестра его, Надежда Федоровна, выходит из кабинета и говорит: «Кто следующий по очереди?» Или вот, в чем же в кино идти. Платье есть, а вот сапог хороших нет. А если туфли надеть? Но как в туфлях по снегу?

Снег посыпался. Матрена закрыла нос ладонью. Дышит в варежку. Деревья в темноте срastaются друг с другом. Вокруг луны белый дым, и луна сквозь него в собирающуюся темень желтым глазом смотрит.

Матрена шла почти на ощупь, слушала свои шаги. Доктор забывался, словно его, как и лес, заносило снегом. Только шаги отзывались болью в голове и хотелось спать.

Перед спуском в деревню сгустилась особенная темнота, но скоро через просветы в деревьях замелькали над домами столбики дыма, кое-где горел в окнах свет.

– Маря потерялась. Аня дома, а Мари – нет, в лес убежала. Кругом искали, – выскочила на Матрену белым лицом соседка Вера.

Сердце почти остановилось. Так лавина начинается со снежной пыли.

И уже не понимая обрушивающихся на нее слов, побежала Матрена обратно в лес, в страшную ночную тишину, туда, где плачет глупенькая Маря, и Матрена не знает где. Ей казалось, что Маря повсюду, но Мари нигде не было.

Матрена плутала по лесу, как потерявшаяся корова, бессмысленно, звеня отчаянием, как колокольчиком. Она просила того, кто сидит над звездами, пожалеть ее, избавить от этого горя, но лес был темен и тих, и звезды темны и тихи, и небо, и все вокруг.

Когда закончились силы ходить, села в снег и завывала. И если бы не Аня, то легла бы в сырое, холодное и не встала бы никогда.

Снег успокоился. Было тихо, хорошо, как на новогодней открытке, только фельдшерский дом смотрел на Матрену мертвыми темными окнами. Она шла навстречу этой страшной тишине, стучали зубы, дрожало все тело. «Не давала им синюю бархатную бумагу трогать. Ничего у них не было, а я ругала, не трогайте, не берите». И следом про доктора, как ничего не ответила на его вопрос о детях.

– Это Бог наказал. Меня Бог наказал, – повторяла Матрена и била себя по губам.

– Где ты все шляешься? Верка с мужем тебя ищут. Сначала Марю искали. Анька твоя Веркиной Ольге сказала, что мы Марю потеряли. А кто ее терял, она вон с улицы пришла, залезла ко мне и спит, не раздевшись. Ох, и врать стала девка. И когда сказать успела. Ты куда в лес-то помчалась? Сходи к им, скажи, что возвратилась. А эти тоже, нет бы спросить, малолетнему дитю верют. Они бы еще курице поверили. Как вон Нинка. Вся семья у них непутная. А ты Аньку набаловала и эту вот маленькую тоже. Вот что значит безмужняя.

Февронья ворчит, а Матрена не слушает. Схватила Марю с печки и целует, целует. Маря недовольно во сне хнычет. Волосы спутались, ротик открыт. Матрена на ходу с нее снимает гамашу, свитер, пуховый платок. Осторожно, словно сокровище, кладет Марю к Ане на кровать. Сама рядом ложится. Но заснуть не может. Все ей целовать и плакать хочется. Носом их вдыхает. «Котятя грязные вы мои». Ножку поднимет, в пяточку целует. «Маря, куда ты от

меня убежала? Куда ты от меня убежала?» И прижимается к Маре, словно Маря огромная, а Матрена маленькая.

Февронья с печки говорит:

– Мотя, так детей любить не надо. У меня семеро померли. Заверну одну в платочек, похороню. Приду – другой мертвый лежит. Не помню, как звали.

«У тебя померли, – думает Мотя, – а у меня выживут. Больше не оставлю одних. Сто лет жить будут».

Засыпают. И снится Матрене, как будто бы метель ночью поднялась, но не белая, а синяя, и колокольчик звенит то тише, то громче. Мимо фельдшерского дома сани проехали, возницу не видно, а повозка – пустая, а следом – грузовик, а в грузовике доктор, в черном костюме, сверху шуба волчья на плечи набросана. Курит, и дым от сигареты застывает снежным клубком.

– Матрена, а пойдешь за меня? Собирайся.

Матрена в дом бежит, будит Марю с Аней, выходят все втроем, а доктор грустно головой мотает:

– Мотя, вас троих не возьму. Много мне.

Уезжает. Они стоят, снег все сыплется. Ничего уже не видеть. Снова колокольчик звенит. Доктор в санях с невестой мимо их дома едет.

– Мама, какая невеста белая!

А потом снится, как кто-то Матрену на санках везет, а на коленях у Матрены Маря с Аней сидят. И снег на всех трех падает. А этот кто-то везет их через лес и говорит что-то непонятное. Матрена спрашивает: «Что ты мне говоришь?» Этот кто-то отвечает, не оборачиваясь: «Спи, Матрена, все хорошо у вас будет. Я довезу».

У Матрены во сне глаза закрываются. Тихо, тепло, все останавливается, только снег падает и падает до самого утра.

## Спи, мое бедное сердце

*Памяти Юрия Трифонова*

Они пришли ночью по железной дороге, Дмитрий Константинович и мальчик.

Телефон поперхнулся, закашлялся, выплевывая застоявшееся молчание, и наконец зазвенел. Лике Витальевне казалось, что звук идет по позвоночнику, отнялись руки и ноги, застучало сердце, сразу заговорили несколько голосов, и среди них сердитый голос Павла Сергеевича: «Звонят, мерзавцы!» Она даже увидела его руку с бледными волосками, золотое кольцо, обхватившее палец, и трубка холодная, склизкая, как рыба, заелозила в руке от страха, а в ней – живой голос, попавшийся на крючок, назвал ее имя. Она снова заснула, но через новый сон бледный треснувший голос повторил: «Мы пришли». И она спросила, узнавая голос: «Это сон?»

Лица Витальевна еще полежала, обвернутая, словно марлей, меланжевым ватником Павла Сергеевича. В нем ее принесли в лодочный домик, в нем и оставили, хотя лодочник хотел забрать ватник, но кто-то сказал: «Это же Лица Витальевна, оставь». Лодочник повторял: «Да какая им теперь разница?», но ватник оставил. Матрас под ней, набитый коричнево-красными сосновыми иглами, просвечивал старой кровью. Лица встала, машинально приглаживая волосы, стирая с лица сосновую пыль дрожащими пальцами, и, когда встала, захотела лечь снова, так сгибалась ее дрожь, не давая распрямиться.

А гости ходили там снаружи, и она слышала их шаги – большие, маленькие.

Лица. Он назвал ее по имени, без отчества, как и тогда, уже перед отъездом, когда было не важно, имя, отчество, он бы мог никак ее не называть, потому что уже все было ясно. Но он говорил – Лица, Лица, слегка спотыкаясь на «к».

Она вышла без туфель. Сразу заныло море. И холодный мокрый воздух заполз под платье. В карманах ватника лежали сосновые иглы, и она не помнила, когда их туда положила, в последний ли раз, перед бомбежкой, или еще раньше в лесу, когда собирала иглы и мох для новых матрасов.

Они ждали ее на вагонной станции, с отсеченным каменным боком. Мальчик сидел на чемодане, а Дмитрий Константинович, вжатый в темноту, смотрел на лодочный домик, откуда вышла Лица Витальевна.

Она разглядела его не сразу, только серебряные дуги очков сверкнули, царапнув, как леска, и скрылись.

– Лица, нам надо уходить через три часа, и мне нужно поспать, я нигде не могу заснуть. Можно в верхний кабинет? К Павлу Сергеевичу?

– Павла Сергеевича давно нет, и я не знаю...

Она хотела рассказать про Павла Сергеевича, но передумала:

– Здесь теперь все по-другому.

Море, израненное лезвием железной дороги. Вагонные станции слиплись в безглазый каменный забор. Корпус морских ванн зиял разбитыми кабинами, как беззубый рот, за ним лечебный корпус, подкошенный рухнувшей колоннадой. Пустыня волейбольной площадки сменялась пустыней теннисного корта, а раньше там шла игра, мяч бесшумно падал в песок, и полотняные шезлонги от ветра изгибали спины. И ряды белых шляп, тел под теньевыми навесами, лодки ожерельем вдоль причала, чайки на сваях. А на горе по-прежнему огромной каменной птицей стоял санаторий, развернув корпуса, как крылья, и от него водопадом стекала лестница, прерываемая пересохшими фонтанами, с голыми нимфами, замершими,

темно-синими, как будто без кожи. Параллельно лестнице – железная дорожка фуникулера, два бледно-голубых вагончика внизу и наверху.

Когда-то после завтрака на ванные процедуры собирались в очередь, заходили в вагончики по одному. И до последнего раздавалось со всех сторон:

– А вдруг порвется?

– Что порвется?

– Да трос порвется.

– Да не порвется.

– Я не поеду.

– Ну выходи тогда. Вон Лика Витальевна едет. Здравствуйте, Лика Витальевна. Разве ж Павел Сергеевич свою жену посадит, если трос порвется. Да, не посадит.

Она смотрела в окно, держась руками за кожаное сиденье – какого оно было цвета, уже не помнит, – замирало сердце, навстречу снизу поднимался другой вагончик, и оттуда выпрыгивали испуганные радостью лица. В середине расходились, один вагончик вверх, другой вниз. Вечером Павел Сергеевич спрашивал:

– Опять каталась? – Павел Сергеевич любил ее.

– Если бы у нас были дети, все было бы по-другому, – так сказала ему тогда, в распахнутое ужасом лицо.

Фуникулер давно не работал, она повела их через туннель под мостом, обвитый высохшими бескровными лианами, словно мертвыми ведьмами. Гнилой запах сырых листьев под мостом. Ее босые ноги мелькали в темноте, как светлячки. А у него тяжелые сапоги, и у мальчика сапоги. Море осталось внизу, лежать в ногах санатория, напоминая о себе только запахом и урчанием.

– Наш сторож, – сказала Лика Витальевна про море, – только оно и осталось.

А что сторожить? Каменную пустоту санатория с отцветшими узорами на мозаичных стенах, темные потолки? Статую метательницы ядра? Шесть лет назад Лика вела прибывших на месячный отдых Дмитрия Константиновича и его жену к спальным корпусам по парковой аллее, метательница ядра сверкнула белым телом, и Дмитрий Константинович посмотрел на белую гипсовую грудь. Помнит ли он это? И вот эта грудь сейчас – позеленевшая, в трещинах, пахнет застоявшейся водой.

Дмитрий Константинович шел совсем чужой, высокие сапоги по колено, галифе брюк, тело худое под плащом, состриженные с висков волосы и густые, зачесанные волной на макушке. Темный овал лица, темные глаза, землисто-зеленые, тусклые.

А тогда был весь светлый – светлые волосы, светло-зеленые глаза, вокруг зрачка желтое ожерелье радужки, – и под руку с ним его жена, Инна Леонидовна, в зефирном платье, легком, как летний ветер, нервная, худая, с белым лицом, длинным неровным носом, длинными руками и ногами, тоже изогнутыми, словно скрученными из белого пластилина. Шла, выкручиваясь всем телом. И глаза – зеленые, выпуклые, каменные. Она улыбалась глазами и губами так, словно выдувала ими воздушные пузыри. Кто-то про нее насплетничал: «Ну и что, что из Большого, а кордебалет-то не проскочила». Не проскочила. Но Павлу Сергеевичу звонили, предупреждали. Артистка Большого театра. Видели ее в «Бахчисарайском фонтане», в «Пламени Парижа»?

– В «Пламени» там Семенова, – потом рассказывала она Лике Витальевне, – она везде. Она и Одетта, и все. Но танцуем много, и я так устаю. Вы знаете, в балете есть такое движение по диагонали *tours chaînés-déboulés*, вот в «Дон-Кихоте». Вы видели «Дон-Кихот»? Меня специально выпускали на него, чтобы воздух очистить, потому что я крутилась, как вихрь. А потом Кирсанов звал в Ригу, но я не поехала, и это мне стоило всего, всего, а Ирина Генри-

ховна говорила: вы больше тридцати двух раз фуэте не сделаете. С таким фуэте вы в примы засобирались? Нет, и Дима. Он ждал меня на Бронной, высокий такой, волосы вот так, – изгибала руку волной. – Диму я оставить не могла. Любовь, – и округляла глаза. – Он писатель. Попросите его подписать вам книгу.

Он подписал за два дня до отъезда – «Воровичам П.С. и Л.В. на добрую память. Д.К.».

Инна Леонидовна лечилась от нервных болезней. Павел Сергеевич назначил жемчужные ванны, парафиновые процедуры в специальной кабине, местный д'арсонваль. Лика Витальевна, процедурная медсестра, готовила ей ванны лично. Во время процедур говорили об одном и том же. О погоде. Инна спрашивала:

– Как же вы здесь протянете зиму? Зимой, наверное, тут нечего делать. Зимой тут дожди.

– Не знаю, мы здесь только первое лето.

В свои часы дежурства на пляже Лика Витальевна видела, как Инна Леонидовна заходит в воду: прямая спина, заведенные назад плечи. Она шла не вперед, а вверх, как стрела, и стрелой вонзалась в море. Они проходили мимо ее поста. Дмитрий Константинович – уже загорелый, хлебно-золотистый, пах морскими камнями, весь – и волосы, и ладони. Она все это чувствовала, не касаясь. Инна Леонидовна в мокром купальнике, высокие трусы, худые ноги.

– Павел Сергеевич здоров?

– Здоров, спасибо.

Ветер поднимал полы Ликиного халата, голубиными крыльями бившиеся по ногам, и она не придерживала его рукой, давала ему разлетаться, открыть колени, округло-продолговатые, как прибалтийские яблоки. Она знала, что он видит эти колени и ему нравится на них смотреть. И знала, что сейчас вся сама сияет на солнце, вся сама золотая с яблонево́й кожей, и волосы переливаются пепельно-белым морским бисером.

А вечером смотрела на Павла Сергеевича – огромного, тучного, родного, как он раскладывает накопившиеся бумаги в аккуратные стопочки, и, задержавшись на одной, подносит ее близко к уставшим покрасневшим глазам, беззвучно читая написанное, и не знала, зачем чувствует все то, что чувствует.

Она хотела сделать что-то хорошее. Подходила к Павлу Сергеевичу, гладила его по плечам. Он пах «Шипром», и она не любила этот запах, но в него вплетался еще коньячный, папиросный, собственный запах Павла Сергеевича. Так пахли его вещи, пальцы, подушка.

– Устал? Что ты хочешь?

Павел Сергеевич отвечал:

– Что ты суетишься? Садись, посиди.

А на книжной полке лежала тарелка с утренней кашей.

Лика спрашивала, убирая тарелку:

– Ну что ты без меня будешь делать? Умрешь?

– Умру, – отвечал он шутливо, но смотрел на нее так, как будто всерьез и правда умрет.

Деревья на склоне натянулись стволами, как тетива лука. Лика споткнулась, но Дмитрий Константинович не подал ей руку. Так и шли. Каждый за себя, и она хотела только одного, чтобы зажгли свет, чтобы засветились окна, или хотя бы одно окно, но все вокруг заросло темнотой, как щетиной лицо. Мальчик следовал за ними послушно, но, когда вышли к спальным корпусам на гравийные дорожки, сделал легкое движение, как будто хотел вспорхнуть бабочкой и полететь; ухнул давно молчавший громкоговоритель, пролетел его вздох золотой совой, выкатывающей по очереди из-под мохнатого века блестящие шарики глаз, с переливающимся внутри смолянистым глянцево́вым морем.

– Тихо, тихо, – сказала Лика Витальевна мальчику, но он и так молчал.

– Это Витя, мой приемный сын.

– А где его родители?

Дмитрий Константинович не ответил.

Они поднялись по мраморной лестнице на третий этаж. В обедневших комнатах ровными рядами стояли кровати, словно заключенные, голые, ржавые, без матрасов. От шагов поскрипывала ржавая кроватная сетка, будто кто-то невидимый ворочался и не мог заснуть. Тухлый запах крови и мха. Поседевшие хвойные иглы – везде на полу, на столах, на стульях.

– Здесь жили раненые? – спросил Вита.

– Жили.

– Расскажи, как было? – спросил Павел Сергеевич на следующий день после отъезда Дмитрия Константиновича, не глядя на нее.

– Как было?

– Как было.

И тогда она сказала, стараясь не смотреть ему в глаза:

– Если бы у нас были дети, мне было бы кого любить.

Он не простил до самой ее смерти в сорок втором. И после, даже после своей смерти, не простил.

Как было? Дмитрий Константинович часто звонил в редакцию из кабинета Павла Сергеевича, а после оставался беседовать. Они сидели напротив друг друга, оба в одинаковых сандалиях с перепончатыми пуговицами, детскими перекладинами. Павел Сергеевич уже лысый, пиджак натянут наволочкой на спину, словно набитую мукой, а Дмитрий Константинович – легкий, длинные ноги, руки, выстриженный затылок. Лика Витальевна хотела прикоснуться к его затылку губами, – так тихие волны касаются берега. И потом, когда смотрела на волны, видела его затылок.

Павел Сергеевич, уже отпив коньяка, благосклонно слушал начало романа, а потом, не выдержав, перебивал, предлагая партию в шахматы:

– Вот книги писать вы умеете, писатель на то, а шахматы?

Роман был об умирающем красноармейце. Тиф, госпиталь в Одессе, а ему снится детство, живые, умершие. Он немного заикался, Дмитрий Константинович, говорил медленно, и от этого каждая его фраза была блаженством, бережно поднимала и отпускала.

В первый раз тогда назвал ее Ликой:

– Такой роман будет, Лика, как лоскутное одеяло, или вот как вышитый подол рубахи черными и красными цветами, или как на рушнике петух, но тоже черный, красный. Два цвета, – рассказывал он ей потом.

– Три.

– Какой?

– Еще белый. Полотно.

Она дотронулась до его руки случайно, рука была еще горячая от солнца, и сказала: какая горячая рука. Он ничего не ответил. Она быстро убрала руку, словно спрятала в футляр. Заговорили о другом. Но он все понял, и она тоже. Был еще короткий его взгляд посреди разговора. Он посмотрел на нее, как будто прошептал что-то тайное, неразборчивое, но она расслышала и поняла.

На двери кабинета еще осталось: Ворович Павел Сергеевич. И внутри все осталось как было: казенная мебель из красного дерева, чайный сервиз из саксонского фарфора, квадратные стулья, кресла. Только лампу и диван, по прихоти Павла Сергеевича, привезли из их краснодарской квартиры. Лампа широкая, по подолу абажура – бахрома расплетенными узбекскими косичками. Один валик на диване оторвался. Инвалид без руки. Инвалидыш, так называл его Павел Сергеевич. И керосинка еще светила оставшимся светом, но бледно, как умирающая.

Дмитрий Константинович лег на диван, не снимая сапоги, снял очки и сразу провалился в себя – тяжело, недоступно.

– Мне как будто землю насыпали в глаза, не могу закрыть, больно.

Лица подошла к нему с лампой, осветила. Зеленые глаза в красных трещинках, как крыжовник, и вокруг темные точки земли.

– Это правда земля, – и осторожно вытерла. Он смотрел на нее, скосив глаза, как ребенок. Все земное ушло. Только жалость. Очки лежали у него на животе жалким худым котенком. Она взяла их, погладила по тонким извилистым дужкам.

– Ты же не носил очки?

– Носил, с детства.

Он засыпал, но сквозь сон отвечал ей:

– Ты была такая теплая. С тобой было так же хорошо, как греться на солнце.

Вечерами после купания Лица Витальевна сидела на скамье, рядом с фонтаном. Дмитрий Константинович подошел к ней в темноте.

– У меня бессонница, головные боли. Так хочется спать. А у себя не могу заснуть. Инна закрывает окно на ночь. Душно.

Он сел близко и положил ей голову на плечо, и плечо ее обвалилось, застучало сердцем. Дмитрий Константинович закрыл глаза. Она сидела неподвижно, но кто-то прошел мимо, остановился, посмотрел на нее сквозь сумрак, узнал.

– Лица Витальевна, вы – не вы? Вас Павел Сергеевич ищет.

Он сразу проснулся – да, я пойду к себе. Простите.

И ушел. Ее плечо пахло его волосами. Она потерлась о плечо щекой. Какая легкость, освободили, как вынули ребенка из чрева живота, но пустота осталась внутри и ныла.

А потом, после его бегства, вспоминала о нем еще долго, и болело сердце. Уговаривала себя: «Не надо думать. Надо забыть». Все легкое ушло из жизни, и что-то другое заползло, как болезнь, не проходящее. Но иногда все перекрывало шумящее море и стрекот цикад, и наступало спокойствие.

– А цикады похожи на светлячков? – спросил мальчик.

– Нет. Ты никогда не видел?

– Никогда.

Лице Витальевне было страшно спросить, что же он видел.

– Светлячки похожи на маленьких жучков, живут среди кустов. Вот вдоль ступеней. Издалека они, как искры, а близко – маленькие жучки. Кажется, раз – и поймаешь, и не получается. Я так ни разу и не поймала. Они летают и светятся. А цикады рогатые, и они трещат. Днем тихо, а вечером громко. Ты умеешь играть в морской бой?

– А что это?

– Ну игра. Я рисую корабли, и ты рисуешь корабли. Ты должен угадать мои, а я твои, и уничтожить. Кто первый, тот и выиграет.

– Уничтожить – это как?

– Убить.

Лица Витальевна испугалась этого слова.

– Не будем играть. Темно и бумаги нет. А мы с Павлом Сергеевичем так играли. Вот ты сейчас сидишь в его кресле. Он мне говорил: иди после медицинских курсов в университет, я не пошла, так и осталась медсестрой. Я ему помогала на операциях. Он мне потом сказал: «Я без тебя не только операции делать не могу, я без тебя просто жить не могу». Я вышла за него замуж. А у него была семья, дети. Но когда так говорят, разве можно отказаться? Я тебе такое рассказываю, а детям, наверное, нельзя такое слушать, да? Сколько тебе лет?

– Семь.

– Ты умеешь читать? Ты читал «Всадника без головы»?

– А в Москве памятник Тимирязева лежал без головы. Я рядом лежал, видел. И как голова оторвалась, видел.

– А я была в Москве четыре раза.

«Будете в Москве, достану вам билет в Большой», – говорила каждый раз после процедур Инна Леонидовна.

Как она кричала ночью. Лика Витальевна уже спала, и Павел Сергеевич спал, когда он постучал к ним.

– Инне Леонидовне плохо, у нее истерика. Сделайте ей укол.

Лика не могла найти свой медицинский чемоданчик, кружила по темной комнате. Павел Сергеевич молча надевал халат.

– Не ходи со мной, я сама справлюсь.

Но он пошел. Почти побежал, потому что она сама бежала.

В номере был закрыт балкон, окна, тесно от душного воздуха, на кровати лежал открытый чемодан, на гладком шелковом дне которого свернулись змеей жемчужно-серые फिल्деперсовы чулки.

«Если вы знакомы с ришелье и гладью», – повторяла про себя Лика Витальевна. Фраза попала в ее мозг, как птица в клетку, неизвестно откуда.

Инна в ночной сорочке, по лифу – кружево волансьен, с красными пятнами на бледном лице, завизжала, как только Лика вошла:

– Чтобы ты сдохла, и дети твои, и внуки, чтобы ты там кровью ходила.

И тут же, вскидываясь на Павла Сергеевича:

– Ну и жена у тебя, тварь, тварь, тварь.

Павел Сергеевич, красный от злости, схватил ее двумя руками и прижал спиной к себе. Она выбрасывала вперед ноги, вырывалась.

– Лика, коли в бедро, пока я держу ее! – скомандовал Павел Сергеевич.

Дрожали руки, шприц застрял в напряженной мышце, остался синяк.

«Если вы знакомы с ришелье и гладью».

– Йодную сеточку, – сказал Павел Сергеевич, когда Инна Леонидовна уже лежала на кровати, а Дмитрий Константинович смотрел на него неживым равнодушным взглядом, и так же смотрел на Лику, – йодную сеточку, и ничего не останется, ни следа.

– Мы уедем. Утром есть поезд. Звоните, ищите билеты, это в ваших интересах. Я всем расскажу, что ваша жена – шлюха. Вас посадят. Вы хотели меня убить, – обескровленным голосом сообщала Инна Леонидовна в закрывающуюся дверь.

И когда закрылась дверь, Лика Витальевна вспомнила забытое из прошлого, мальчика, с которым два раза шла от школы до дома. Они доходили до дома и возвращались обратно, чтобы снова идти вместе и разговаривать. А потом он налетел вместе с другими мальчишками, в зажатом кулаке – зеленые мокрые гусеницы. Она остановилась, не стала бежать, потому что между ними была эта дорога, туда и обратно, но он подбежал и бросил гусениц за шиворот платья. Они упали комком и расплзлись по телу.

– Если ты заплачешь, – сказал Павел Сергеевич, – я тебя убью.

Лика Витальевна чувствовала, как подступал волнами плач, и, чтобы остановить его, сглатывала воздух и с силой выдыхала. Становилось легче. Но поднималась вторая волна. И она тихо скулила, чтобы не сорваться в рыдание. Павел Сергеевич встал с кровати, слепо ощупывая тумбочку в поисках очков. Нашел. Лика Витальевна зачарованно наблюдала за ним. И когда он вышел из комнаты, пошла за ним босиком в кабинет, повторяя:

– Ну прости, прости.

– За что простить? – он говорил сквозь зубы, словно выплевывал. – Ведь ничего же не было?

Ли́ка Витальевна соглашалась:

– Не было.

И целовала его ноги, колени:

– Прости, прости.

Почти рассвело, и водитель машины с постельным бельем кричал дворнику: «Сторонись!» Высыпали люди, заговорили, начался день, но солнце еще не вышло, и потому день казался ненастоящим, как казались Лике ненастоящим ее тело и вся прошедшая ночь. Ее пальцы пахли водой, водкой, сосновыми иголками. Она чувствовала этот запах, когда проводила ладонью по лицу, и через весь пережитый ужас, через предательство, она представила вместо своего лица – лицо Дмитрия Константиновича и поцеловала ладонь.

– Мне надо его убить? – спросил Павел Сергеевич.

– Зачем?

И они посмотрели друг на друга, не понимая зачем.

– Витя, нам надо идти.

Дмитрий Константинович уже шел к двери, сонный, растерянный, задерживаясь руками о кресла, стулья. Его шатало.

– Как на корабле, пол качается, – сказал он.

– Тебе плохо? Слабость? Голова кружится? – спрашивала Ли́ка.

– Душа качается. – И снова повторил: – Надо идти.

Они вышли втроем в сырое холодное утро. Шли быстро, почти бежали. Ли́ка Витальевна впереди, лязгая зубами, Дмитрий Константинович с Витей за ней.

– Помнишь, я готовила Инне жемчужные ванны? – спросила Ли́ка. – Мне это снилось. Ванна, засыпанная жемчугом, и в ней Инна, в жемчуге по плечи. Я сщищала ладонью жемчуг, прилипший к мокрой розовой коже, мелкий, крупный, и жемчуг падал на пол со стуком. Пол белый, жемчужный. Ты целовал ее кожу и глотал жемчужины, одну за другой, словно водяные капли. Я смотрела на вас, и мне было больно.

Она рассказывала это неизвестно зачем, не стесняясь мальчика:

– А потом ты сказал мне – у тебя внутри жемчуг. Посмотри. Ты подошел и прижался лицом к моему животу. Ты спросил – видишь? Легкие – в них жемчуг, пузырьками. Ты дышишь жемчугом. Я так тебя ненавидела. Все плохое началось из-за тебя, мне даже казалось, что война началась из-за тебя.

– Ты не любила меня.

– Я не успела.

– У меня больное сердце, и я курил. Тебе было все равно, что мне нельзя, а про Павла Сергеевича не было. Ты переживала за него, нервничала, когда он пил коньяк.

– Ты не защитил меня.

– Я не мог.

– Как не мог?

– Она бы написала на вас, понимаешь?

Они вышли к железной дороге.

– Ли́ка, вот здесь расстанемся, нам надо дальше идти.

И задрожало платье вокруг ее колен, как подбородок в предчувствии слез.

Ли́ка хотела обнять Дмитрия Константиновича, но он стоял, скрестив руки у груди, опустив голову, и обняла мальчика, и обнимала его так, как будто не могла с ним расстаться, целуя пыльные волосы, худые плечи.

– Ли́ка, отпусти, мы пойдем.

Он взял мальчика на руки.

Она не знала, что сказать последнее, важное, просто смотрела им вслед, потом крикнула:

– Спасибо, что пришли.

После отъезда Дмитрия Константиновича и Инны о случившемся старались не вспоминать. Дни проходили по-прежнему, но Лике ничего уже не было нужно. Утром и после обеда – процедуры, вечерами же Лика заходила к Павлу Сергеевичу и сидела, сидела, просительно чего-то выжидая, какого-то прощения, но он молчал, что-то писал, не поднимая на нее глаз, потом спрашивал:

– У тебя нет никаких дел?

Она вставала, шла на улицу. А на улице, в танцевальной раковине, прижимались друг к другу пары, и она думала – как все закончилось быстро-быстро.

На теннисном корте, пустом после дневной игры, два мальчика перебрасывались мячом.

Она попросила:

– Научите меня.

– А мы сами не умеем.

– Но вы же играете. Покажите как.

– Берете ракетку и бьете по мячу.

– Эту?

– Эту.

– Тяжелая.

– Тяжелая, это вам не бадминтон.

В темноте не было видно ни рук, ни ног.

– Так?

– Нет, не так. Сначала надо просто научиться бить по мячу. А потом уже через сетку. Понимаете? Вот так высоко подбросить мяч, а потом уже бить по нему. Это очень сложная игра.

– Я не смогу.

– Бросайте мяч, а теперь отбивайте, бейте.

Мяч перелетел через сетку, шлепнулся в песок.

Лика сняла сандалии. Шелестело море, и патефон пел кому-то: «Спи, мое бедное сердце».

– Я не буду вам мешать, играйте.

Она села на скамью возле пляжа. Шум волны сливался с ударами теннисных ракеток. Она еще видела мяч, как он летал туда-сюда, и ракетки скользили в темноте прозрачными светлячками, но темнота становилась все сильнее, исчез мяч, исчезли мальчики.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.